



ЖИВОПИСЬ
XX ВЕКА.
ВАШЕ МНЕНИЕ?

(стр. 20—22)

Три дня, которые потрясли завод
О провинции с горечью и тревогой. Фотоочерк
Видео: искушение запретным плодом
Неизвестный Михаил Зощенко. Рассказы
Конфликт в хоккее. Взгляд профессионала

СПЕЦИАЛ 6

ПОМНИТЬ — ЗНАЧИТ ЖИТЬ

Отклики на беседу «Живя под одной крышей» (№ 9, 1988 г.) мы получаем по сей день. Материал, как говорится, задел за живое, вызвал споры... Конечно же, в рамках одной публикации невозможно обсудить в деталях ту или иную проблему, а тем более — проблему межнационального общения. Авторы писем стремятся понять происходящее — а где-то и себя понять, — разобраться в сложных и противоречивых явлениях нашего прошлого и настоящего, размышляют о будущем. Понятно, что предлагаемый нашими читателями разговор выходит за пределы национальных отношений — и мы его принимаем и поддерживаем. Наш специальный корреспондент Сергей КАЛЕНИКИН вновь встретился с доктором философских наук, профессором Масхудом ДЖУНУСОВЫМ. Беседа ведется с учетом пожеланий наших читателей.

— Масхуд Садыкович, о каких бы проблемах ни шла речь, все мы сегодня задаем себе главный вопрос: как жить дальше? Но ответить на него невозможно, если не понять, не осмыслить — а как жили раньше? Но у каждого свое видение истории — а, стало быть, и свое отношение к действительности.

— Не стоит витать в облаках, думать, будто новые социально значимые сведения, ценности утверждаются без столкновений мнений, исключающих друг друга суждений. Это — борьба. Есть вечный момент столкновений групповых интересов, мнений и суждений, и от него никуда не уйти. Такова логика жизни. А с другой стороны, не забывайте, что основа нашей партийной и государственной системы — демократический централизм. Улавливаете? Да-да, сочетание противоречий. Стоит качнуться в ту или иную сторону, и противоречие обостряется: давим на педаль централизма — зажимаем демократию, свободы, права человека и даже народов, а при утверждении демократических ценностей может быть под обстрелом централизм. К сожалению, мы еще не овладели искусством сочетания противоречий. Нас заносит, и порой очень сильно. До настоящего, социалистического плюрализма нам еще далековато.

— Защищено ли теперь наше общество от извращений власти, от режима личной власти, каковой была власть Сталина, Хрущева, Брежнева?.. Разобрались ли мы с таким явлением, как сталинщина? Некоторые ученые и журналисты говорят, что корни трагедии — во внутреннем мире Сталина, его невежестве, психической болезни...

— Очень просто, а кому-то и удобнее объявить Сталина параноиком, — мол, что спрашивать с больного человека. Да не клинические, а социально-политические диагнозы нас должны занимать, коль рвемся к правде, стремимся разобраться в коллизиях прошлого и настоящего!

Понять сущность явления сталинщины мы можем только через социальное познание, пользуясь ленинским принципом сведения индивидуального к общественному, групповому. Это значит, что каждый человек — уникал, со своим микрокосмосом, но вместе с тем в этом микрокосмосе есть нечто, что присутствует и в других людях. Вот ключ к пониманию сталинщины. Ведь

если деформации 20—50-х годов объяснить только лишь Сталиным, то мы вольно или невольно переоцениваем влияние личности на ход истории — сооружаем очередной культ, создаем очередной миф. А тот, кто считает, что Сталин тут ни при чем, — и без него, мол, были бы подобные деформации — игнорирует влияние личности на ход общественного развития. Иначе говоря, если за поступками отдельного человека не видеть интересов, социальных ожиданий и настроений определенных групп людей, то мы ничегошеньки не поймем ни в истории, ни в действительности, ни в той же сталинщине.

— Чьи же интересы представлял Сталин? Молотова, Жданова, Кагановича, Ежова, Берии, Ягоды?..

— Дело не столько в сталинском окружении.

Сталинская идеология пришлась по вкусу и тем группам трудящихся, которые абсолютизировали централизм, ратовали за казарменный социализм, кто уравниловку принимал за социальную справедливость...

Увы, подавляющее большинство советских людей не то что не замечало никаких перекосов, деформаций, оно их даже в мыслях допустить не могло. Ведь все звенья партии в народном сознании представлялись вершиной социальной справедливости, опорой тех, кого угнетал и травил царизм. Есть такое понятие — социальный гипноз. Ему, в порыве революционного оптимизма, и поддался народ.

— Из ваших заключений следует вот что. Если бы даже партию возглавили Киров или Бухарин, то все равно мы бы столкнулись с деформациями, перекосами...

— Тут надо разделять, что зависело от Сталина, а что нет. Нельзя же игнорировать особенности эпохи — революционный оптимизм рабочих, интервенцию, экономическую блокаду, нищету, голод, тиф, террор, саботаж, заговоры. Централизация власти в то время — необходимость. Не думаю, что тогда кто-нибудь смог бы реализовать в полной мере потенции социализма, миновать деформации. Но от сталинских они отличались бы тем, в какой мере проявились бы те или иные черты характера, личные свойства того же Кирова, Бухарина, Пятакова, Троцкого... Вот почему Ленин в своем добавлении к «Письму к съезду», говоря о недостатках характера Сталина, подчеркнул: «это не мелочь, или такая мелочь, которая может получить решающее значение». Так оно и вышло.

— Масхуд Садыкович, почему же настоящие большевики не заявили о себе? Вся страна опутана колючей проволокой — и все воспринимали это как должное? А разве природе русского человека, не знавшего рабовладельческого строя, так уж чужд демократический дух? Разве не на нашей земле рождалось киевское, владимирское, суздальское, ростовское, переяславльское вече?

— Мне весьма симпатичен ваш тезис о демократическом духе. Но этот дух — не джинн в бутылке: захотел — выпустил, он не появляется по мановению волшебной палочки. Демократия завоевывается, за нее идут на эшафот. Кстати, демократия имеет свои социальные типы: есть демократия рабовладельческого, феодального, буржуазного общества... С другой стороны, она формирует исторический тип личности с его национальными особенностями. А с чем сталкивалась Россия, что ей довелось пережить? Что, скажите, хранит социальная память украинцев, русских, белорусов и других народов?

...Иван Грозный, неоднократно поминавший библейские заповеди: «Несть власти, аще не от бога. Всяка душа властем предержащим да повинуется...», с варварской жестокостью уничтожает Новгородскую республику,

устраивает массовые казни, пытки. Петр I, подавлявший всякое инакомыслие, Павел I тоже — неотъемлемая часть социальной памяти. Трехсотлетняя эпоха династии Романовых — дворцовые перевороты, казни, ссылки, аракчеевщина, военные поселения, барщина, крепостное право, казнокрадство, тайная канцелярия, цензура... Откуда же быть демократическому духу? Комплекс режима личной власти — это особый вид социальной памяти.

Обратите внимание и на такую вот историческую особенность. В России вначале появились всевозможные политические партии, а только после них — профсоюзы, которые, скажем, в Англии или Франции уже имели свою столетнюю историю, богатейший опыт политической борьбы. Это же целая школа — мощный социальный институт!

Мы не имели, не прошли и так и не сумели создать школу развитых профсоюзов. Отсюда и низкая, а порой просто вульгарно-примитивная политическая культура масс.

Знала ли Россия парламентскую демократию? Нет, не знала. После революции 1905 года появилась Государственная дума — всего лишь совещательный орган, — и то ее царь в конце концов разогнал — посчитал Думу чересчур... левой. А кто тогда ведал, что есть местное самоуправление? Зато имелся генерал-губернатор. Видите, не гражданское, а какое-то полуголовное управление.

Короче говоря, не переболели мы буржуазной демократией, так и не узнали ее атмосферы, социально-политической раскрепощенности, что, естественно, и сказалось в психологии поколений.

Что представляла собой основная масса рабочих даже из европейской части России? В основном — обыкновенные выходцы из крестьян! Первое или второе поколение рабочих. Безусловно, они переваривались в фабричном котле: да, со временем формировался социальный облик рабочего, пролетария, но его мировоззренческий кругозор нередко был ограничен крестьянскими представлениями с признаками мелкобуржуазной психологии. Социальный портрет России выглядел так: из каждых пяти ее жителей четверо — селяне. А прослойка потомственных пролетариев весьма незначительна. И Ленин не случайно подчеркивал, что нам гораздо легче начинать революцию, нежели ее продолжать. В конце концов все решают люди, а сознание очень прочно цепляется за прошлое. Такие нити в мгновение ока не рвутся, что хорошо понимали и первые русские марксисты, в том числе Плеханов. А тут — одна революция за другой, диктатура, терроры, военный коммунизм, коллективизация, нэп, индустриализация... Какой вихрь событий! Наконец, гегемония Сталина, который уже в 1924 году высказался весьма определенно: «...демократии развернутой, полной демократии, очевидно, не будет». Это как раз тот случай, когда слова не расходились с делом. И как это ни странно, при социализме преднамеренно уничтожались демократические традиции, утвердившиеся в буржуазном, капиталистическом обществе. Тому примеров сколько угодно. Все, что могло пробудить мало-мальски живую мысль, всколыхнуть социальную память, сталинщина беспощадно вытравила, запрещала, разрушала, перекаивала...

Весь драматизм деформаций социализма как раз и состоит в том, что произошло смещение ценностей: гуманистические идеалы социализма подменялись личной преданностью Сталину, а оно, смещение, и породило культ — режим личной власти.

— Есть точка зрения, что на социально-политической атмосфере сказались отсутствие оппозиционно здоровых сил, многопартийной системы.

Тем самым исключался политический плюрализм...

— Как известно, Ленин не исключал раскола в партии, деформационных процессов в политическом руководстве и стоял на том, чтобы партийные съезды избирали ЦК и ЦКК — Центральную контрольную комиссию, которая бы не только контролировала уплату членских взносов, выполнение Устава партии, политическое руководство на всех уровнях, но и, невзирая на лица, проверяла работу членов ЦК. Одна партия, но два органа: один — политического руководства, а другой — орган контроля политического руководства — суть ленинской концепции. Причем ЦКК избирается только съездом, отчитывается перед съездом. В этом и виделся социалистический плюрализм, который был крайне необходим, ибо уже тогда логика действительности подталкивала к мысли: необходим жесточайший контроль рабочих над аппаратом власти и бюрократией. Но издержки диктатуры, допущенные в ходе социалистического строительства в 20—30-х годах, вполне укладывались в стратегический план Сталина. Истребив почти всю ленинскую гвардию — всех тех, кто не вписывался в его Административную Систему, — он начал реализовывать свои гипертрофированные замыслы, соорудить собственную модель социализма... В сущности, так и не произошло разграничения политического и административно-государственного руководства...

Конечно же, задним умом мы все крепки. А в прошлом надо видеть не только черное и белое, но и всю гамму светотеневой истории. Только тогда поймем, что человек не в силах оградить себя, свой мозг от противоречий действительности — он обеими ногами в бурлящем мире современности. Поэтому история не есть абстрагированная хроника событий, это живейшая, динамическая область знаний, служащая интересам и потребностям определенной группы людей (народу), которые и упорядочивают все события, факты, явления прошлого и настоящего с учетом своих политических, экономических, эстетических и религиозных воззрений. История всегда содержит в себе субъективное, ориентирована на действительность и сознательность масс. Все это и откладывается в социальной памяти народов.

— Вы, Масхуд Садыкович, уже не раз упомянули словосочетание «социальная память». Что это за понятие? Память людей?

— Нет. Человек биологически смертен, с ним уходит и его память. Есть память иного, особого свойства — индивидуальная, социальная, хранящаяся в каждой семье, коллективе, классе, нации... Это то, что вырабатывается практикой жизни, объединяет людей, отражает их жизнь, быт, ценности, мировоззрение, психологию эпохи. Словом, социальная память — часть общественного сознания, которая отражает опыт прошлых эпох, цивилизаций в виде информации, выражается через язык, письменность, живопись, фольклор, архитектуру, традиции, обычаи, ритуалы, памятники... Социальная память — не заведомо отлаженный и запрограммированный механизм. Отнюдь, какие-то его невидимые внутренние пружины могут захиреть, ослабнуть, и механизм дает сбои, холостой или даже обратный ход. Сталинщина тому яркий пример. Чтобы разобраться во всей этой механике и кинематике, мы и должны проникнуть в психологию масс.

— Дополню вашу мысль вполне уместным изречением Александра Пушкина: «История, в том числе и древнейшая, — не давно прошедшее вчера, но важнейшее звено живой связи времен; тронь в одном месте, как отзовется вся цепь». Вроде бы, Масхуд Садыкович, прописная истина, доступная даже школьнику...

— Именно. Скажем, некоторые центральные издания с поразительной настойчивостью твердят: дескать, кон-

фликт между армянами и азербайджанцами — всего лишь выходы хулиганствующих оголтелых экстремистов, проишки националистов, мафии, коррумпированных элементов. Да, это есть. Однако проблема не только и даже не столько в экстремистах, мафии; в провокационных лозунгах, призывающих к межнациональной и гражданской войне! Мы опять-таки берем то, что на поверхности, а вот дотянуться до истины либо ума не хватает, либо желания...

— Но ведь ясно как божий день: Сумгаит, Карабах — отголоски сталинской Административной Системы, результат извращения ленинской национальной политики.

— Не торопитесь. Понимаете, тут одна эпоха цепляется за другую, и выстроенные веки времен уводят нас в далекое прошлое. Когда-то от моря и до моря процветала Великая армянская империя, но после того как она приняла христианство, против нее началась непрерывная агрессия со стороны мусульманских государств — Ирана, Турции... Исламская религия претендовала на мировое господство. Более тысячи лет армяне подвергались гонениям, истреблялись мусульманскими фанатиками. Великая империя, как и империи Александра Македонского, Чингис-хана, распалась, но, несмотря на то, что армяне антропологически изменились, они сохранили свою удивительно богатую культуру, язык, традиции, национальные ценности! Но чего это стоило, каких жертв!

Двадцатый век — со своими осложнениями, конфликтами. В 1905 году распространен слух, будто армяне намерены восстановить свою империю, ассимилировать мусульман. Возникла страшная резня в городе Шуше, которая вошла в историю как армяно-татарская (в то время татарами назывались все народы нерусского происхождения, включая и азербайджанцев).

В 1915—1916 годах Османская империя совершает очередную чудовищную акцию геноцида — в течение нескольких дней уничтожается полтора миллиона армян, более 600 тысяч выселяется в бесплодные районы Месопотамии... 1920 год: снова кровь, жертвы, страдания, снова конфликт между армянами и азербайджанцами...

— Мне приходилось слышать мнение, будто в начале двадцатых годов предполагалось передать Нагорный Карабах Армении. Но историки не нашли каких-либо документальных подтверждений — постановлений, декретов по этому поводу. Есть также предположения о решении Сталина оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана, но и эти документально ничем не подтверждены. Словом, немало самых противоречивых мнений. У каждой из сторон — участники конфликта есть свои аргументы, к которым нельзя прислушаться. Подчеркиваю — у каждой! И это «гордиев узел» не разрешить топором. Я хочу сказать: спор не разрешить силовыми методами. Это доказали межнациональные конфликты, вспыхивавшие в Закавказье и в двадцатых годах, и в наше время. Проблема гораздо сложнее, чем может показаться со стороны: история обоих народов столь тесно переплелась, что сейчас чрезвычайно трудно установить истину, как говорят, в последней инстанции. Выход, наверное, один: обдумать создавшееся положение взвешенно, спокойно, искать решение вместе. Гнев не лучший советчик. Ни к чему, кроме разъединения людей, он не привел, это теперь всем ясно. С другой стороны, очень не просто сейчас говорить об интернациональной дружбе, сплоченности: за годы застоя эти слова стали «дежурными» для парадных митингов. Вернуть им изначальный, общечеловеческий смысл и содержание — вот, пожалуй, первоочередная задача.

— Что и говорить, многое осталось в памяти армянского народа. И Сумгаит очень больно задел легкоранимое на-

циональное чувство армян, злом отозвалось прошлое. Иначе и быть не могло. Ленинская идея о необходимости учета национальной специфики народа как раз и предполагает прежде всего учет особенностей исторической памяти народа. Опять-таки видим, что она, память, — это не нечто пылящееся в архивах, заложное в невестребованных фоллиантах, покрывшихся вековой пылью, а живое, пульсирующее явление! И мы его, признаюсь, недооценили — ни до Сумгаита, ни после. К сожалению, у нас еще не отлажен механизм демократических форм выявления специфических национальных интересов каждого народа в отдельности, не отработаны демократические приемы сочетания интересов одного народа с другим. Вот эта неотлаженность и сказывается по сию пору. Ни одна общность людей, ни один класс, ни профессиональная, ни демографическая группа людей не должна служить вместилищем национальной обиды, иначе создается заведомо чрезвычайно взрывоопасная ситуация.

Специфические запросы национального меньшинства — дело тонкое, а когда они остаются без внимания, то по нарастающей набирает силу психологический феномен — националистическая солидарность, психологическая напряженность. Люди провоцируются на манифестации, митинги, акты самосожжения и прочие крайности.

Вот вам парадокс. В капиталистическом Западном Берлине идут тридцатиминутные радиопередачи на турецком языке для иммигрантов. А в социалистической Москве, где проживают сотни тысяч людей разных национальностей, таких передач нет.

А надо ли говорить, какое значение имеет язык для каждого народа, народности, нации, надо ли повторять, что только через родной или материнский язык возможно становление как личности, так и нации.

— Вероятно, среди прочего вы подразумеваете и Закон Эстонской республики «О государственном языке». А ведь страсти вокруг него кипят до сих пор.

— В любом вопросе нужно уметь видеть главное и второстепенное, уметь отделять зерна от плевел. Есть ли у эстонцев основания беспокоиться за судьбу своего языка? Да, есть. Рождаемость в республике из года в год падает, значительно изменился за последние 20 лет и национальный состав Эстонии — резко возросла доля русскоязычного населения, все реже и реже стала звучать эстонская речь. Отсюда и стремление придать родному языку статус государственного. Это право народа. И такой закон не может осуждаться, если он направлен на сохранение языка, на расширение его социальных функций и не ущемляет интересы других народов.

— Масхуд Садыкович, и все-таки число говорящих, читающих и обучающихся на родном языке сокращается. Если не ошибаюсь, уже 15 миллионов советских людей нерусской национальности родным языком признают русский. Быть может, с одной стороны, это не так уж и плохо. А с другой? Нет ли здесь сдвигов в самосознании людей? Разве человек, не владеющий языком своих предков, сможет проникнуться историей, прошлым своего народа, сможет ли вобрать в себя весь колорит национальной культуры? Где тут национальное обогащение, где та почва, на которой взращивается национальное самосознание? Значит, такой человек как носитель социальной памяти угасает, он духовно стерилизуется?

— Есть потребности общественной жизни, профессиональные и прочие интересы личности, есть особенности среды, наконец, действительности, что, собственно, и ориентирует человека на язык, его выбор. Мы, интернационалисты, не должны охаивать людей, перенявших язык других народов, но, видимо, было бы неправильно приветствовать то, что, допустим, грузины, башки-

ры или татары родным языком считают русский. Жизнь, однако, вносит свои коррективы: что-то приобретает, что-то теряется и у кого-то действительно память угасает. Еще говорят: амнезия, потеря памяти. У других она, напротив, обостряется. Из семи граждан еврейской национальности примерно один владеет еврейским языком, но из этого, конечно же, не следует, что у них явное безразличие к социальной памяти. Скорее наоборот.

— Могут подтвердить вашу мысль об обострении памяти. В одном интервью основатель психоанализа Зигмунд Фрейд говорил: «Мой язык — немецкий. Моя культура, мои знания — немецкие. Я считал себя интеллектуально немцем до тех пор, пока не заметил роста антисемитских предрассудков в Германии и Австрии. С тех пор я более не считал себя немцем. Я предпочитаю называть себя евреем». Еще раньше Фрейд писал: «Меня не связывала с еврейством — мой долг в этом признаться — ни вера, ни национальная гордость, потому что я всегда был неверующим...»

— Мы частенько забываем, что национальность человека определяется не географическими, не антропологическими признаками, не языком, не культурой, не религией предков, а самосознанием. То есть национальность, как я считаю, — явление социальное, и ее никак нельзя смешивать с биологией, расовыми признаками — цветом кожи и волос, формой головы, носа...

Между тем известный сионистский лидер Гольдман заявлял: «Еврейский народ — особая историческая сущность. Он является народом, религией, расой, носителем особой цивилизации, и ни одно из нееврейских понятий, характеризующих «народ», «нацию», «религию», не может правильно определить явление, называемое в истории «еврейским народом». Каково? Сионизм и антисемитизм одинаково противоречат элементарным человеческим нормам. Если первый утверждает превосходство евреев над всеми другими народами, то второй — идею нравственной неполноценности евреев. И то, и другое — пережитки прошлого, от которых нам необходимо освободить социальную память.

— Масхуд Садыкович, среди многочисленных откликов на наш первый материал — беседа «Живя под одной крышей» — немало писем от людей еврейской национальности. И далеко не все удовлетворены вашими высказываниями. Многие упрекают вас в том, что вы умолчали о трагической истории еврейской нации, утверждая, что «еврейская национальность почти не располагает рабочим классом и колхозным крестьянством», намекнули на то, что они уклоняются от физического труда, рвутся в крупные, развитые города... В рамках той беседы мы не могли остановиться на каких-то подробностях истории и жизни еврейской нации. Об этом надо говорить отдельно, но, не выходя из границ нынешней беседы, что-то можно сказать и сейчас.

— Да, еврейский народ — один из древнейших. В мире есть несколько издревлетосчислений, но самая древняя — еврейская: по древнееврейскому календарю сейчас вторая половина шестого тысячелетия. Но так уж трагически сложилась история, что евреи вынуждены были покинуть свои земли, расселиться во многих странах мира, где как национальные меньшинства подвергались гонениям, притеснениям... Жизнь в инациональной среде и заставляла евреев приспосабливаться, бороться за свое существование. А чем труднее исторические и социальные условия, тем мобильнее, активнее, энергичнее становится народ в реализации и сохранении своих интересов. Ничего биологического или генетического тут и в помине нет. Брала свое и специфическая система воспитания еврейских детей — она ведь отличалась от других: ребенка с детства настраивали,



Флагман отечественного станкостроения, трижды орденосный — и вдруг...

Но так ли уж вдруг? Да, банкротство, приписки, многомиллионный долг государству — все это для заводчан было громом среди безоблачного парадного неба. Знамена и премии, лауреатства и ордена — зримые, осязаемые, конечно же, внушали уверенность в благополучии. Работать на станкостроительном считалось и выгодно, и престижно. Один из ветеранов завода рассказывал: «Бывало, спросят, где работаешь? — У Чикирева Николая Сергеевича. Смотрят уважительно — правильный мужик, надежный».

И вот надежность, правильность обернулись иллюзией. Но ведь рабочий коллектив — не вздорная, капризная старуха из сказки. Видели, чувствовали: неладно на заводе. Авралы, постоянные сверхурочные, идет брак и идут премии, автоматическая станколиния для «зиловского» филиала в Ярцеве по всем бумагам значится готовой, уже, вроде, автомобильные движки точит, а она, линия эта, здесь в сборочном — вот они, полупустые станины... И в ноябре прошлого года, на отчетно-выборной партийной конференции, не случайно, не в эмоциональном порыве прозвучало: «Нас обманывали, потому что мы позволяли это делать, потому что так было удобно...» Горькое, выстраданное признание.

Хотя действительно о катастрофичности финансового разора ведали лишь единицы. Опытный экономист, бухгалтер-ревизор Евгений Васильевич Королев говорил мне: «Я, как и многие, был ошеломлен, узнав правду. Сорок шесть с лишним миллионов рублей долга —

это даже для такого мощного предприятия крах, банкротство. Практически мы уже несколько лет живем в долг. Но Николаю Сергеевичу, безусловно, верили и на заводе, и в министерстве, и выше...»

Проще всего задним числом списывать случившееся на это вот самое «доверие». Неподотчетность генерального директора Чикирева коллективу, а коммуниста Чикирева — партийному комитету вряд ли была результатом лишь наивной доверчивости. Административно-командный стиль управления диктовал свои правила игры. Телефонный звонок при таких правилах решал куда больше, чем рабоче собрание и партком.

Прошлой осенью прошлестело, а затем и открыто пронеслось по бригадам, отделам, цехам слово «чикиревщина», обозначив не частный производственный срыв, не просчет генерального, пусть и серьезнейший, но случайный, временный, который можно поправить, а явление. Не столько экономическое, сколько нравственное. (Впрочем, ежедневно, да что там — ежечасно убеждаемся теперь, как переплетены в судьбе Отечества нравственность и экономика, материальное и духовное...)

Не обременительно для разума и совести свести все, что произошло на заводе имени Серго Орджоникидзе, к одиозной фигуре директора. Мол, «звездная» болезнь подкараулила: подмял партком и профком, стал делить работников на удобных (читай — «удобных») и неудобных. Да и характер крутой, грубоватый — из рабочих сам, из станочников. Но на четвертом году переналадки жизни, отношений люд-

Валерий ГУРИНОВИЧ

Фото Евгения СТЕЦКО

ПУТЬ К СЕБЕ

В судьбу страны вошла XIX партконференция. И эмоции ее, и деловитость. Выступления делегатов, реплики с мест, обсуждение проблем, вчера еще закрытых — все подразумевало одно: правду. Стержень споров — полнота информации, компетентная оценка ситуаций. Запомнились многие, кто с трибуны, с полосы газетной, с телеэкрана обратился к народу с личным, наболевшим, но важным для всех нас. Выступление Николая Чикирева, генерального директора прославленного на всех уровнях ИПО «Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», хоть и было кратким, но врезалось в память напором, горячностью. «...Я в партии с 1946 года. На заводе с 15 лет, в одну проходную хожу 46 с лишним лет». Вряд ли кто из присутствующих мог предположить, что всего через четыре месяца знаменитое предприятие окажется финансовым банкротом, а его не менее знаменитый директор — нравственным. Словом, как в той пушкинской сказке — «у разбитого корыта...»



ских высветилось иное, когда экономическая целесообразность подменяется армейским «надо», когда на тысячах предприятий страны последняя десятидневка страны ежемесячно становится «битвой» за план, когда не важно, что и как ты сделал, а важно, как отчитался, когда хозяин на заводе не коллектив, а директор (точнее, должность, кресло!), то попросту наивно все беды списывать на начальственные «капризы». Не работает машина, заменил деталь, узел — пошла. Ну, а если конструкция, система устарела?

...Не в оправдание Чижириеву пишу это. Как, чем можно оправдать ложь?

За первый квартал 1988 года объединение привычно получило переходящее Красное знамя Минстанкопрома и отраслевого ЦК профсоюза. И весьма внушительную премию. Были, как положено, поздравления, заверения. И в это же самое время в цехах собирали пятнадцать «безадресных» (не заказанных, не нужных, по сути, никому!) станков стоимостью по 150 тысяч рублей каждый. Долг, таким образом, увеличивался еще на два с четвертью миллиона.

...Я поинтересовался, кто все-таки первым задал администрации прямой «нетактичный» вопрос о финансовом положении предприятия? Выяснилось, комсомолцы на своей отчетно-выборной конференции. Спрашивали о прибыли, какова она? Как строятся финансовые взаимоотношения с заказчиками и поставщиками? Как удастся заводу

при такой организации труда, при хронических недопоставках, сбоях перевыполнять план?

Вразумительного ответа так и не получили.

— Но вопросы не растаяли в воздухе, — говорит секретарь комитета ВЛКСМ Николай Теляков. — Они засели в душах, всколыхнули людей...

В конце октября — конференция трудового коллектива. Примерно за месяц до этого директор «выбил» очередной кредит в 15 миллионов сроком на три месяца. Понимал, конечно, погасить этот кредит, как и прежде, предприятие не в состоянии. Теперь он мог не предотвратить, а лишь оттянуть катастрофу.

...На стенде возле проходной появились листочки, отпечатанные на машинке под копирку: «Товарищи! Администрация и партком пытаются уложить конференцию в привычное для них русло рассуждений о проделанной работе и объективных трудностях. Но правда была через край и торжественно. В зале не было равнодушных. Делегаты увидели причины банкротства завода, а также полную растерянность в рядах руководства, его неспособность вывести завод из кризиса. Существующий административный механизм сам породил проблемы, которые самостоятельно преодолеть уже не может... Конференция обозначила сплоченность сил перестройки. Но главные задачи впереди!» И подпись:

Сомнения... Споры... Выбор директора — выбор пути. Кто победил? Это покажет подсчет голосов.



«Комитет защиты перестройки».

Три года подспудно зрел этот взрыв рабочего негодования, совести. Потребность в прямом, гласном общении, в правдивом слове оказалась куда насущнее мнимого благополучия. Можно по-разному относиться к стихийно возникшему комитету («...горлопаны, рыбку ловят в мутной воде», «...честные люди, настоящие бойцы!»), но в экстремальной ситуации он, объединив и рабочих и техническую интеллигенцию, стал действенной альтернативой растерявшемуся руководству и «карманному» парткому.

...Накануне партконференции генеральный директор объединения Герой Социалистического Труда, профессор МВТУ Николай Сергеевич Чижириев подал в отставку: написал заявление с просьбой «освободить по состоянию здоровья». После конференции «в отставку» оказался и весь состав партийного комитета.

В далеком тридцать втором родился первенец отечественного станкостроения.

...Здесь раньше был пустырь, огромный овраг. Завод возводили, считай, вручную — лопата, кирка, телега, тачка, лебедка... Так строили Магнитку, Горьковский автозавод, тракторный в Сталинграде. Вместе с заводом рос и поселок. Вчерашние крестьяне становились рабочими. И еще — соседями, друзьями, родственниками. Первые свадьбы играли в общественных, длинных деревянных бараках. Общие праздники, беды, заботы. Складывался коллектив, в котором не было места обману, двурушничеству.

Я хорошо знал Ивана Ивановича Гудова, чья жизнь была неразрывна с этим заводом. Герой Социалистического Труда, первый в стране стахановец-станочник, он до конца своих дней оставался «орджоникидзевецем». Помню, лет десять назад мы шли с ним по цехам, его многие узнавали, здоровались. Знала Ивана Ивановича и заводская молодежь — по рассказам, фотографиям в музее трудовой славы, по выступлениям в многотиражке «Новатор».

— Какие ребята, — сказал тогда Гудов. — Умные, душой светлые. Они не подведут...

Этим «ребятам» сегодня за тридцать, под сорок. Думаю, прав оказался ветеран, они не подвели. Не размыли в конце годы «брежневщины» традиции станкостроителей. Честность, доверие друг к другу, человеческое достоинство — то, что крепило заводской люд в тридцатые годы, что давало ему силы в годы войны, должно сработать и нынче. Да, кто-то уходит из бригад и отделов — не будем осуждать их. Но те, кто остался в это трудное для завода время, обращаются к его истокам, хотят разглядеть, уловить утраченное — стойкость, единодушие, самостоятельность суждений и поступков.

Нынешний секретарь парткома тридцатисемилетний инженер Анатолий Федюхин уверен, что право решать неотъемлемо от обязанности отвечать за принятое решение.

— Мы многое растеряли, со многим смирились. Но сейчас поняли главное: никто, кроме нас самих, не вытащит завод из прорыва. Нужно в себе искать силы, мужество, рабочий азарт...

Путь к себе. Сложный, мучительный, но для почти пятидесятилетнего трудового коллектива объединения много нет. И на этом пути выборы нового директора стали, безусловно, значимой вехой.

...Кандидатуры выдвинули: Алексей Алексеевич Власов, заместитель генерального директора по производству,

Владимир Петрович Савин, генеральный директор «Хаматэка» (совместное предприятие с западногерманской фирмой «Хайнеман»), Владимир Павлович Исанин, руководитель МПО «Станкоагрегат», и Анатолий Алексеевич Панов, заместитель директора Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минстанкопрома. Оговаривались и другие варианты. В объединении, в министерских коридорах назывались имена хозяйственников, партийных работников — цепких, опытных, со связями («...уж он-то наведет порядок, и не из таких передряг выходил с почестями»), и людей сравнительно молодых, отлично ориентирующихся в лабиринте экономических и организационных проблем современного производства. Но некоторые отказывались, боясь конкуренции (каково возвращаться на прежнее место, «провалявшись»?..), другие, отчетливо понимая, что не потянут этот перегруженный сверх всякой меры «воз».

Осталось четверо. Знающих завод, верящих, что именно они смогут круто повернуть судьбу предприятия.

...А завод бурлил. Весь декабрь обсуждали, прикидывали: кто же станет лидером? Крепкий, безотказный производитель Власов, за 34 года прошедший путь от студента станкостроительного техникума до одного из руководителей объединения, или же сорокадвухлетний Савин, прекрасный аналитик, конструктор, технолог, работавший за рубежом, администратор и хозяйственник новой формации? А может, прежний зам генерального Исанин, всего четыре года назад ушедший с завода? Тут его еще помнили заместителем секретаря комитета комсомола, мастером ОТК — парнем моторным, настойчивым, не теряющим в любой ситуации. Да и Панов из здешних, заводских. Был главным инженером, прошел министерскую «выучку», кандидат технических наук. В тяжелые дни производственных сыров помог стать на ноги Алапаевскому станкозаводу, Сасовскому станкостроительному, Житомирскому заводу станков-автоматов...

С программами кандидатов предварительно ознакомились все. В главном программы эти были схожи: оздоровление заводской экономики, хозрасчет, постепенная выплата задолженностей, упор на новые разработки, научно-технический прогресс. Нацеленность на человека, его нужды, социальное обновление — за это тоже, так или иначе, ратовал каждый кандидат.

Выборы руководителей для нас уже привычны. Сотни предприятий, учреждений, институтов прошли через это. Сомневаясь, опасаясь, надеясь. Но сейчас становится все более очевидным: выборный директор — не панацея от бед. Во-первых, не отлажен до конца сам механизм демократических выборов; во-вторых, давление «сверху» на нового директора ничуть не меньше, чем на прежнего; а в-третьих, увы, и коллектив может ошибаться. Все мы дети застоя. И искренне желая жить по-новому — лучше, честнее, добрее, справедливее, зачастую в житейской повседневности берем все же в расчет старые ориентиры: чтобы спокойнее было, удобнее. Чересчур крутая лямка привычного вранья ли по душе большинству.

Это стоило учитывать и кандидатам в ходе предвыборной кампании.

Панов пошел в цеха. Он не был здесь двенадцать лет, но его помнили, на вопросы отвечали охотно. Говорили о зарплатах, о жилье, об условиях труда... А за каждым словом, фразой угадывался жгучий вопрос: а что же завтра? Панов старался интуитивно нащупать то звено, за которое следовало ухва-

тяться, чтобы, не откладывая на годы, уже сегодня дать людям почувствовать перемены.

Власову и Савину «идти в цеха» не было надобности. Они, по сути, из них и не выходили. Исанин, полагаясь на свой опыт действующего руководителя производственника, ограничился выступлением перед начальниками производственных участков, твердо заявив: так работать, как работали, больше не будем: с теми, кто не может переломить себя, придется расстаться. Начальники насторожились...

Эти три январских дня, несомненно, войдут в летопись завода. «Выборщики» — 370 человек (один представитель от пятнадцати работающих) в течение пяти часов слушали кандидатов, задавали вопросы, спорили, взвешивали.

Я был на выборной конференции. Трибуна, речи, некоторая напряженность в президиуме и зале — все привычно, накатанно. От кого-то слова отскакивали, а кто-то впитывал и сберегал услышанное, чтобы поделиться с товарищами. Но «накатанность» была обманчивой. Резкость и прямота прений обнаруживали порой принципиальную несхожесть в оценке сегодняшних производственных дел и завтрашних взаимоотношений коллектива и нового директора. Выборщики смотрели на заводскую жизнь более реально, заземленной, что ли. За масштабностью экономических и социальных переустройств они прежде всего видели свое рабочее место, бригаду, цех, человека. Оттого программы Власова и Панова, насыщенные конкретикой, были им понятнее и ближе.

Исанин, а вслед за ним Савин сняли свои кандидатуры с голосования. Хотя, уверен, многое из того, что предлагали они (особенно Владимир Савин) — острый, научно выверенный экономический анализ завтрашнего дня предприятия, его места в общей народнохозяйственной структуре, связь с зарубежными партнерами, перспективы развития объединения, — ох, как нужно будет коллективу. Так что же, победила сиюминутность? Синица в руках оказалась желанней журавля в небе? Нет. Победил здравый смысл. Практичность, помноженная на доверие.

— Нам сегодня, сейчас необходим рывок, чтобы люди не разуверились, запал чтобы не остыл, — поделился со мной после собрания фрезеровщик Валерий Королев. — Поэтому я за Панова...

Голосовали на следующий день. Володя Афанасьев, молодой мастер из сборочного, откровенно сказал: «Мне лично при Власове было бы лучше. Он за сборку болеет — нам и льготы и привилегии. Но голосовал за Панова. Тот смотрит шире, государственно».

Слесарь Василий Сергеевич Кусков проработал на заводе почти сорок лет. Спрашиваю:

— За кого голосовали?

— За Анатолия Алексеевича. Я его еще главным инженером знал. Справедливый и слово держать умеет. — Помолчал. — А вообще-то ему тяжело будет. После Николая Сергеевича как управляться с нами? У того по струнке ходили...

(Ищем судорожно противников перестройки, хотим, чтобы назвали их поименно. А собственная, сосущая тяга к «порядку»? А мифы о жестком, порой жестоком, но обязательно чуть ли не как следствие — мудром руководителе?..)

Строгальщик Виктор Душа — восемь лет на станкостроительном — смотрит на нового директора под иным углом.

— Он человеческий. В цехе был, поговорил со всеми, справлялся, как живем, обещал строительство жилья наладить — два дома в Ясеневе, МЖК. В инструментальном парень лет двадцати пяти сказал откровенно:

— Не верю тем, кто под Чикиревым

был. Это они нынче смелые, самостоятельные, а раньше вместе с генеральным нам мозги пудрили... Панов понадежней.

Но столь же категоричные, искренние суждения слышал и о Власове: «...Производство до винтика знает, кому же, если не ему, директором быть!», «...Он нашего корня, заводской. С ним не пропадем», «...Алексей Алексеевич из тех, кто запрягает медленно, а уж поедет — так с ветерком».

...Подсчет голосов завершился в восьмом часу вечера. А утром следующего, третьего, решающего заводскую судьбу дня объявили: директором избран Панов.

Что касается летописи заводской, тут все вроде бы ясно: это — событие. Но станет ли оно поворотным в истории станкостроительного гиганта, судить не

му, третьему, десятому кругу?

...На одном из бюллетеней, поданных за Панова, было начертано размашисто: «Мы верим в Вас!» Вера и доверчивость — вроде схоже, а какая пропасть между ними.

С Анатолием Алексеевичем встретился на исходе второй недели его директорствования. Отошли победные минуты, поздравления, пожелания, напутственные разговоры в министерских кабинетах. Покатился двенадцатичасовой рабочий день генерального, прихватывающий и субботний, и воскресный роздых. А ком заводских проблем не подтаял, растет. Конец января. Из срока с лишним единиц готовой продукции отгружено всего лишь семь. Миллионы рублей не в банке, тут, на складе. И те самые производственные дыры, которые нужно закрыть сей же

просто пускаем в распыл. Параллельно надо. И то, и другое, и третье! Не по Экклиду, по Лобачевскому...

— В расчете на бесконечность?

— На завтрашний день, на перспективу...

Но, повторюсь, сегодняшний день для станкостроителей не легок. Долг, отчисления в госбюджет, министерству съедают даже ту мизерную прибыль, что нет-нет да и обозначится от выгодного заказа, сделки. Можно было бы, как и в прежние времена, бумажно-финансовым перерасчетом перекачать (навык-то есть!) средства из одной статьи в другую. Дирекция же, партком, профсоюзный комитет тверды: от социальной программы не брать ни копейки. Два дома в Ясеневе, МЖК — тот минимум, что обещан людям, невозможно отодвигать к горизонту, в «бесконечность».

Кolleктиву нужна министерская помощь. Это ясно. Не советами, не накачками — делом. Ну, хотя снизить бы процент плановых отчислений. Встанет объединение на ноги — вернет с лихвой.

Еще пример, что буквально под боксом. Лежат омертвело который год сверхнормативное сырье, материалы, оборудование. Не на тысячи — на тридцать семь миллионов рубликов! Что и говорить, «запасливо» жили орджоникидзевцы. Сбыть бы с рук эту тяжкую ношу — вот тебе и почти весь долг погашен. Где они, рыночные отношения, о которых столько говорено, свободная оптовая купля-продажа, реальная кооперация? Пока экономисты ломают копья с чиновничьим людом, бесполезно, бессмысленно валяются миллионы, заколоченные в металл, прокат, электронику и т. п., что наверняка необходимо где-то в Кемерове или Грозном, а не исключено, что и рядышком, через дорогу, предприятию, подведомственному другому «мину».

Проглядывается свет в конце тоннеля, есть те самые резервы, о которых любим толковать на совещаниях, но враз забываем после завершения их...

...Я спросил у Сергея Гениса, члена парткома, начальника отдела труда и зарплаты, одного из вчерашних «комитетчиков», считает ли он, что перестройка на его заводе поддержана, защищена, что не повторится ситуация октября — ноября прошлого года, что комитет в конечном счете добился желаемого?

— Мы дали толчок, движение началось... А сейчас мы все вместе. Ведь двигаться враслопьер невозможно... Поняв это, заводчане, как мне думается, поняли самое главное — путь к себе начат.

Р. С. Возможно, сторонникам «критического реализма» конечный авторский посыл покажется излишне оптимистичным, розоватым — желаемое куда как опережает действительное. И все ли так уж зависит от самосознания в сугубо прагматических материях экономики и народнохозяйствования?

Во-первых, убежден — зависит. Во-вторых, очень хочется верить, что нравственный закал заводского коллектива, давно перешагнувшего полувековую рубеж, его традиции и достоинства, — не пустой звук. Ведь в пиковый час не в курилке с оглядкой стали рабочие решать свои проблемы. И листовка на общелюдской обзор — не фига в кармане.

То, что случилось на заводе имени Серго Орджоникидзе, по сегодняшним меркам в общем-то типично. И не надо горестно разводиться руками или же умиляться всеохватной демократизацией. Все проще и сложнее — люди хотят жить по-людски.

Так давайте, читатель, подзапасем терпением, терпимостью и... оптимизмом. Это не сверхнормативы, которые бог знает когда и куда пристроить. Востребуются...

«Поздравляем, Анатолий Алексеевич! Мы верим в Вас!»



буду. Не из-за того, что опасаюсь — в чем может быть опаска журналиста, хоть и не стороннего заводу, да все же человека не своего, не тутошного, — а потому главным образом, что сами выборы, всплеск коллективной воли, духа, — факт хоть и отрадный, но отнюдь не определяющий в полной мере дальнейшую судьбу объединения. Ведь и сегодня уходят с завода на сторону, порывая с профессией, и молодые ребята, и старожилы. В кооперативы, на другие, более выгодные промыслы. Уходят, чтобы уже сейчас иметь то, что здесь рисуется с оттяжкой на три-четыре года: заработок, квартиру, самостоятельность. И уходят не худшие, не рвачи, а просто уставшие, разуверившиеся в словах-погремущах, словах-заверениях. Выжжен ли нынче микроб «чикиревщины», не пойдут ли все по второ-

час, не уменьшаются в числе. И план остается планом...

— А все же, — настойчиво любопытствую я, — должно что-то меняться?

— Должно, — соглашается Панов. — Но сейчас не помогут ни приказ сверху, ни финансовые инъекции так, как осознание собственных возможностей. Арендный подряд, подряд бригадный не просто новая форма труда — новое качество. Бригада определяет и успех, и неуспех объединения. В этом я уверен. Кооператив? К нему мы пока не готовы даже на участке, в цехе. Но это обязательно будет, когда будет восполнение средств, идей, отношений. Мне говорят, выпутывайся из долгов, обеспечь людей премиями, а уж потом... На такие советы я и сам мастер, но вижу, что, откладывая «на потом» свежую мысль, необходимое решение, мы их по-

ЛАРИСА ТАРАКАНОВА

ГЛАСНОСТЬ

Крутыми карами грозя,
Воздетые роскошно,
Идут: огромное Нельзя
И крохотное Можно.

Нельзя висит на всех столах,
Над выходом и входом.
Оно сидит в чугунных лбах,
Каминдую народом.

И все товарищи-друзья,
И все гремят тревожно:
Нельзя! Конечно же, Нельзя!
И шепчут: Можно! Можно!

ЖЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Как лавина, блещут стеклянные
двери больницы.
Сестра милосердия всех
записала в блудницы
И, искрив подноготную чуть
не с момента рожденья,
Велела не хныкать, а молча
сносить обхождение

Гурьбой похвдывали, поширкали
по коридорам.
Насытились гречкой, словесным
кочующим вздором.
А время клеймило, душило,
сзывало куда-то.
Как мать-героиня с большого
цветного плаката.

Потерлим, подруги! Помолитесь
женскому богу.
Не правую ж руку отымут и
даже не ногу...
Потерлим, подруги. Затянем
халаты потуже.
Глядите, как солнце купается
в мартовской луже!

Оно не боится испачкаться
в девственной грязи,
Пылающий узел, таящий причины
и связи,
Рассыплется радугой или росой
на дорожке.
В ушах молодницы блеснет
в подвешенной сережке.

Холодным сияньем обдаст
хирургический столик,
До ужаса явный, до нервных
дрожаний и колик...
И тут угадает больную твою
сердцевину,
И разум отнимет, и в черную
сбросит лавину...

Восстаньте, подруги, дрожавшую
бледною тенью:
Окупится боль — крепдешином
и первой сиренью.

Немым облегченьем,
таксиста короткой услугой,
Молчанием близких,
щебечущей вольно подругой.

Окупится жизнью,
сулящей незримые шрамы,
Июльским дождем,
потрясающим оконные рамы,
Наясным звучаньем, соблазном,
короткою строчкой...
Во сне разметавшейся все еще
маленькой дочкой.

Почем стихи? — спросили у поэта.
И он ответил странно, как всегда:
— Почем у нас дыхание рассвета?
Почем над крышей ранняя звезда?

— Скорей возьми слова свои
обратно.
На этот счет у нас расценок нет,
Звезда над крышей светится
бесплатно.
И даром занимается рассвет.

Да, эта жизнь прозреньями богата,
Немного места и ней займет поэт.
Но кто, как он, напомнит нам
когда-то,
Что всть звезда? И небо?
И рассвет?

СЛОВА

Несокрушимые в основе
Слова не могут ничего,
И дало всякое мертво,
Покуда держится на слове.

Чтоб до сегодняшнего дня
Усвоить истину простую,
О, сколько пущено огня
Великолепного впустую!

Мир не мифический Сезам.
Он не откроется на слово.
И к поэтическим словам
Его бесчувственна основа.

Все разгадавши наперед,
То вправо двигаясь, то влево,
Все переварит, все вберет.
И не задохнется от гнева.

Люблю человека с лопатой.
Люблю человека с метлой —
В огромной стране и богатой,
В стране бесшабашной и злой.

Тот — светлую рошу заложит.
Тот — вынесет сор из избы.
Хорошее время не может
Прийти без труда и борьбы.

ЛЮДИМИЛА ИЩУТИНОВА

Я плакала, что таяла звезда.
Пускай она была настоящей.

В густой траве под вечер
без клавишей и струн
Невидимый кузнечик
играет овой ноктюрн.

Мелодия простая,
серебрино-звонка,
Травинкой вырастает
и чашечкой цветка.

А рядом — шумный город,
спешащий, деловой,
И отблеск светофора
над серой мостовой.

ВОСКРЕСЕНИЕ

Вот если б проснуться легко
и беспречно,
Как будто и взрослой еще
не была.

Чтоб бабушка снова возилась
у печи,
И мама засоней меня назвала.
Чтоб в кухню явился отец
напрямую,

Колкучий с мороза, с охалкою
дров.

Проснуться и сразу понять:
воскресенье,
И в доме светло
от пришедших снегов.

Проснуться...
И я просыпаюсь под утро
На самом краю восходящего
дня.

И бледный фонарь одиноко
и мудро
Сквозь осань, сквозь
шторы глядит на меня.

И сны от себя отогнав
постепенно,
Наивности их улыбнувшись
тайком.

Я вдруг удивлюсь,
что впрямь воскресенье,
Но только до снега еще
далеко.

Вода — в ведре, и льдина
на воде...
— Зачем ты лоришь? — бабушка
смеется.

— Но ты мне говорила о звезде,
которая живет на дне колодца.
Так вот она! Смотри скорей,
смотри!

Как голуба, лучиста и
блестяща!..
— А ты не верь, — мне бабушка
говорит, —

Блеск не всегда бывает
настоящим.
— Но ведь красива!
...Капала вода

С моей руки, озлявшей и
дрожащей.

Средь океана улиц городских,
Асфальтово-бетонного прибрея,
Как мини-государство островное,
Газон, где травы луговые
высоки.

Здесь правит одуванчиковый
цвет

И дух медовый клевера и
кашки,
И белолицей с золотом ромашки,
И, кажется, его сильнее нет.

Над городом бродяжит дух лугов,
Полузабытый, полустертый вроде...
Ну что ж, спасибо
матушке природе.

Что не забыла наших городов.

Пахнет стружкой пшеницы-свежей,
Просыхает от краски пол...
Незнакомое слово «коттеджи»
Входит в моду российских сел.

Современная она как будто,
Чтобы видно: время — вперед,
Но коттедж свой баба Аноша
По старинке избой зовет.

Домов деревянных фасады —
Из-под наличников взгляды
Гераневым аспрыхнут огнем.
А в глубине палисады
Рыбина с черемухой рядом
И тополь с калиной вдвоем.
Так средь городского разлива
Неторопливо чуть и лениво
Течет переулоч-ручей.
Его тишине удаляясь,
От ритмов шальных отрекаясь,
Тебя я люблю горячий,
Мой Город!

Не надо сердиться,
Что новых кварталов страницы
Читаю и наспех, и вскользь.
Они величавы, но все же
Меня пробирает до дрожи
И счастливо ранит до слез
Улыбка герани сквозь шторы,
Наличников, ставней узоры,
Карнизов затейливых вязь
И повесть забытая чья-то
Паденья, надежды, утраты
И вечная времени связь.



Юрий ТОМАШЕВСКИЙ

Когда о ком-то говорят — возвратился, вернулся, значит, человек уходил, был в отлучке. Зощенко никуда не уходил и не отлучался. Его отлучили. От литературы, от многомиллионных читательских масс. За что? За какие грехи?

Был грех: Зощенко имел несчастье родиться сатириком...

Сатирикам везде и во все времена жить было куда как опасней, нежели представителям иных литературных профессий. Ювенал закончил свое земное шествие в ссылке. Всю жизнь подвергавшийся гонениям, Свифт только потому избежал ареста, что днем и ночью народ охранял от властей своего любимца. О Гоголе кричали с пеной у рта, что ему «надо запретить писать», что он «враг России», а когда он умер, одна из газет напечатала: «Да, Гоголь всех смешил! Жалко! Употребить всю жизнь, и такую краткую, на то, чтобы служить обезьяной публике».

Каждый, кто вступает на сатирическое поприще, знает, что современники обижаются на своего сатирика, не понимают или не хотят понять причину и цель его смеха. Люди все могут простить, но только не смех над собой.

А ведь сатирик и в мыслях не держит — смеяться над людьми!

Просто зрение его устроено так, что он видит прежде всего прискорбные явления жизни. Собирая их вместе, он создает некий отрицательный мир, который и подвергает сатирическому воздействию: смехотворная несообразность этого мира и его устоев должна, как ему кажется, оттолкнуть от него современников, и они яснее почувствуют и поймут, что мешает им жить, мешает быть чище и красивее.

Так думает сатирик. Именно здесь причина и цель его смеха. Не злорадное потирание рук при виде подмеченных в жизни всякого рода нелепостей гонит его к столу, а любовь и боль. Любовь к людям, боль за несовершенство их жизни.

Именно таким человеком и был Зощенко. В 1928 году в «энциклопедии» сатирического журнала «Бегемот» («Бегемотнике») Зощенко напечатал автобиографию. Там было сказано:

«Я не знаю, где я родился. Или в Полтаве, или в Петербурге. В одном документе сказано так, в другом — этак. По-видимому, один из документов — «липа». Который из них липа, угадать трудно, оба сделаны плохо».



Рисунки Геннадия НОВОЖИЛОВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вроде бы это шутка. Но вернул ее Зощенко неспроста. Не для того, чтобы выудить из читателя очередную «порцию смеха». В упоминании Полтавы, как возможного места своего рождения, видел молодой Зощенко для всех пока еще тайный, но для него самого представлявшийся уже явным великий и роковой смысл... Когда кто-то из горячих его поклонников, желая сделать ему приятное, сказал однажды в застольной беседе: «Аверченки у нас нет. Но есть Зощенко, который достойно заменил его», — Михаил Михайлович вышел из-за стола и хлопнул дверью. Когда Федин, опять же намереваясь доставить Зощенко удовольствие, сравнил его с Горбуновым, Михаил Михайлович только и вымолил «да», а многие годы спустя припомнил Федину его «бестактность». Когда дружественная ему критика, отыскивая в истории литературы питающие его корни, в качестве «душеприказчика» называла Лескова, Зощенко и тут выказал все признаки самого раздраженного недовольства, не видя даже внешней, формальной схожести в этом сравнении...

Но все же был в русской литературе человек, сравнение с которым Зощенко никогда бы не покорило. Близ Полтавы родился он, в Полтавском уездном училище обучался, в одном классе науки постигал — с кем бы вы думали? — с Андреем Зощенко. Андрей — старший брат деда, двоюродный дед. С самим Гоголем два года подряд под одним потолком сидел!

Не будем спешить делать выводы. Зощенко не равнял себя с Гоголем. Он видел лишь общность взглядов на назначение литературы, близость художественной задачи и — в частых случаях — тот же

способ ее разрешения: сатирический. А потому уже в молодые годы подозревал будущую схожесть судьбы.

И не ошибся. Как и Гоголь, он пускается во все тяжкие, ограждая, защищая себя и свое призвание от наскоков критики. Как и Гоголь, сломленный стойким нежеланием окружающих признать необходимость очистительного смеха над самими собой, он начинает тяготиться своей литературно-общественной ролью и, практически покончив с сатирой, обращается к поучительству, к назиданиям, к нравственным проповедям. Как и Гоголь, чем ближе к закату жизни, тем все больше мучается он от болезни, исток которой, конечно же, общий для них обоих: «вредность профессии».

Но на рубеже 20—30-х годов литературные дела у Зощенко обстояли вполне благополучно. Журналы дрались за право печатать его рассказы, книги выходили одна за другой, и даже появилась монография о его творчестве. Он один из самых знаменитых в новой России писателей!

И вот, отдавая должное такому прекрасному настоящему и переполненный верой в еще более прекрасное будущее, в очередной автобиографии Зощенко никак не упоминает Полтаву, а твердой рукой выводит: «Я родился в Ленинграде (в Петербурге)».

Конечно же — в Ленинграде! Ведь именно в Ленинграде родилось новое отношение к людям его профессии... Вы уж простите, Николай Васильевич, что не придется разделить вашу участь!

А в 1953 году, пережив великое надругательство над своим именем, униженный и опозоренный, Зощенко будет составлять последнюю в своей жизни автобиографию. Не нужно быть провидцем, чтобы

угадать, какой город будет назван им как место рождения: Полтава.

Нет, Зощенко не равнял себя с Гоголем. Он сравнивал с его судьбой свою...

Зощенко пришел в литературу на переломе эпох. Старый мир еще не был разрушен, новый — только закладывал первые кирпичи в свой фундамент. Прежде чем сесть, как говорится, за писательский стол, Зощенко успел пройти две войны, перепробовать более десяти «мирных» профессий, исходить в скитаниях по стране сотни дорог и понять, что строительство нового будет трудным и долгим: груз прошлого с его вековыми устоями быта, привычками и представлениями — что хорошо, что плохо, не год и не два будут тяжело давить на людей, сопротивляясь скорым в них переменам.

Времена меняются быстрее и легче, чем люди. Зощенко (как, впрочем, и все остальные жители новой России) не знал, каким оно будет — новое время. Но каким оно быть не должно — знал. Это знание и определило, по сути дела, его профессию.

Годы, проведенные в гуще людей, не прошли для Зощенко даром. Подслушанная в солдатских окопах, а позже на базарных площадях, в трамваях, банях, пивных, на кухнях коммунальных квартир живая народная речь стала речью его литературы, тем самым языком, на котором говорил, думал, а теперь еще и читал своего писателя новый читатель. Зощенко сумел научиться писать для читателя, который существовал реально, — для широких масс, духовно обогранных, обездоленных в социальных условиях прошлой жизни. И это было не просто крупным литературным достижением Зощенко. Это был гражданский подвиг русского интеллигента, чей «врожденный не-

дуг — большая совесть — властно повелел отдать свой дар на пожизненное служение поднимающемуся из бескультурья народу. Введенная в художественное русло народная языковая стихия не только привлекла к чтению необозримое число новых читателей — она открыла для литературы доселе совершенно ей неизвестный социальный персонаж и тем самым обратила внимание общественности на его жизнь: до жалости мелкую, никчемную и пустяковую, с точки зрения высокого духа, но ведь и такая — она тоже человеческая жизнь!

«Человека жалко» — есть у Зощенко такой рассказ. Эти два слова можно поставить эпиграфом ко всему тому, что он написал. Он как бы посмеивался над кажущейся ничтожностью забот и переживаний своего незадачливого героя. Но горек был этот смех. В обыденной жизни нет ничего ничтожного — все нужно, все важно. И об этом должны поминутно помнить те, от кого зависит простая жизнь простого человека. Помогите человеку!..

Природу и направленность зощенковской сатиры быстро поняли и оценили многие (и очень разные) люди: Ремизов и Воронский, Замятин и Маяковский, Есенин и Мандельштам, а Горький, с первых рассказов Зощенко восхищавшийся его искусством пользоваться «мелким бисером» освоенного им «лексикона», подчеркивал, что его творчество несет в себе высокий заряд «социальной педагогики».

Однако благородную суть дерзаний Зощенко было дано уразуметь далеко не всем. Все смеялись, читая его рассказы и повести, но далеко не все считали необходимым выразить свое удовлетворение присутствием в литературе этого всеми читаемого писателя. Кстати, это присутствие критикой поначалу вообще как бы не замечалось. Она (по словам самого Зощенко) не вставляла его даже «в списки заурядных писателей» — так, юморист, развлекатель почтеннейшей публики. Но, распознав в нем сатирика и забывшись признать в зощенковском герое обыкновенного человека, имя которому миллионы, критика поторопилась, так сказать, упростить положение дел и всю серьезность поставленных Зощенко проблем свела к примитивному разговору о мещанине и обывателе.

Герой Зощенко — обыватель. Эта «формула» стала гулять из статьи в статью, притом утверждалось, что Зощенко нарочито трагедизирует опасность — высмеиваемые им герои в реальной действительности практически не существуют, ибо новое общество лишено почвы для процветания тех многочисленных нелепостей и уродств социальной жизни, которые имели место в навсегда ушедшем «проклятом прошлом». А если это так, то Зощенко — в лучшем случае — стреляет из пушки по воробьям и является тем самым «ископаемым» обывателем и мещанином, от лица которого он пишет свои «злые пасквили». Одна из статей называлась «Обывательский набат». Не дав себе труда отделить автора от воображаемого рассказчика, критик обозвал Зощенко «перепуганным обывателем», «который с некоторым злорадством копаются, переворачивает человеческие отбросы и, зло посмеявшись, набрасывает мрачнейшие узоры своего своеобразного зощенковского фольклора».

Эта статья была как сигнал к атаке. Словно толпа на Котофеева, раскачавшего набат в зощенковской повести «Страшная ночь», бросилась критика на писателя: «Крой его, робя! Хватай! Здеся. Сюдый, братцы! Сюды загоняй!.. Крой...»

Зощенко писал в эту пору М. Слонимскому: «Чертовски ругают... Невозможно объясниться. Я только сейчас соображаю, за что меня (последний год) ругают — за мещанство! Покрываю и люблю мещанством! Эва, дела какие! Черт побери, ну как разъяришь? Тему путают с автором... В общем, худо, Мишечка! Не забавно. Орут. Орут. Стыдят в чем-то. Чувствуешь себя бандитом и жуликом...»

Несмотря на все возраставшую признательность, доверие и любовь масс к своему писателю, нормативная критика будет стараться посеять раздор в их (писателя и читателя) отношениях, будет зло и несправедливо продолжать приписывать Зощенко обывательский взгляд на вещи и вообще все «грехи» его наивно взывающих правды и сострадания «рассказчиков-выдвиженцев». И будет спрашивать: «Чей писатель — Михаил Зощенко?»

О повести «Возвращенная молодость» (1933) будет сказано, что присутствующие в ней «идеалистические вывихи» — продукт «неверной идейной базы». Про «Голубую книгу» (1935) будет написано, что «зощенковский рассказчик... умудряется до последней степени ополнить весьма значительные темы и предметы», о которых в свое время писали «Маркс, Энгельс... и другие выдающиеся люди». Публикация повести «Перед восходом солнца» (1943) будет прервана, и в статье, объясняющей причину, по которой дальнейшее ее напечатание решено запретить, будет объявлено, что Зощенко написал произведение, «проникнутое презрением автора к людям», что он «тряпичником бродит... по человеческим помойкам, выискивая, что похуже», «клеветца на наш народ, извращая его быт, смакуя сцены, вызывающие глубокое омерзение». И наконец: Зощенко написал «галиматью, нужную лишь врагам нашей Родины».

Нет, как мы видим, Зощенко пока еще не «враг России», каковым когда-то был назван Гоголь. Просто сам того как бы не осознавая, он пока, дескать, лишь дует на мельницу врага. Но, судя по всему, вот-вот додуется...

И вот — август 1946 года. Опубликованный в журнале «Мурзилка» очень смешной, а главное, совершенно невинный детский рассказ «Приключения обезьяны», переизданный затем в трех книгах и уже после напечатанный журналом «Звезда» (кстати, без ведома автора), становится вдруг криминальным, а вместе с ним криминальным становится и все творчество Зощенко.

Опаленный невиданной в истории русской литературы славой писателя, которого знали все — от вчерашнего ликбезовца до академика, и не уронивший эту славу на протяжении двух десятилетий, в постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» и в одноименном докладе Жданова, Зощенко будет заклеймен как «пошляк», «хулиган» и «поддон литературы», «глумящийся над советскими людьми». Его изгонят из Союза писателей, и его имя, заполучив статус бранного слова, выпадет из литературного обихода. Многие думали, что он сам тоже «выпал» из жизни. Но он прожил еще двенадцать мучительных лет.

Как-то, размышляя о Гоголе и его судьбе, Зощенко занес в свою записную книжку: «Гоголь ожидал, что его не поймут. Но то, что случилось, превзошло все его ожидания».

Эту запись можно вполне отнести и к самому Зощенко.

Есть писатели, со смертью которых умирает и то, что они написали. Книги таких писателей, случается, сегодня тоже переиздают. Но это не возвращение. Это как бы необходимость: заполняется пустующая строчка в истории литературы и попутно отдается дань памяти тем, чей труд на литературной ниве был не силен, но усерден и честен.

Зощенко именно возвратился. Он не мог не возвратиться. Потому что Зощенко — не музейный писатель, написанное им — не для архивных полок. Время, отображенное в его книгах, ушло в историю, но его герой — человек — не ушел. Не ушли те заботы, хлопоты и волнения, что терзали людей в годы живого присутствия Зощенко в литературе...

Зощенко видел далеко. И потому будущее его книг — далеко. Как дожили до наших дней и будут жить еще долго Чичиковы и Хлестаковы, так сегодня живет полной жизнью, без каких-либо признаков усталости и постарения, с виду смешной и несчастный, но тронь его — злобный, безжалостный, беспардонный «зощенковский герой». Конечно, сознавать это грустно.

Но ничего не поделаешь. Человек — организация сложная. Он по природе своей наиболее консервативен из всех одушевленных и неодушевленных предметов, обитающих на земле. С этим необходимо считаться, терпеть и не пороть горячку. И уж, во всяком случае, не спешить обвинять писателей, которые видят человека и окружающую его жизнь не такими, как кому-то хотелось бы. Не спешить обвинять их в клевете, очернительстве, в не любви к своему народу и прочих смертных грехах.

Запретить печатать писателя можно. Но можно ли запретить ту жизнь, которая есть и о которой он пишет?

Михаил ЗОЩЕНКО

Хорошая характеристика

Один молодой человек приятной наружности, некто Ф., решил в этом году немножко встряхнуться. Он по собственному желанию ушел со службы, где работал в качестве счетовода. Взял дорожный мешок, пихнул туда смену белья и всякую чертовщинку, сел в поезд и поехал, куда глядели его глаза.

Он приехал в город Б., нашел там временное пристанище и в великолепном настроении стал там жить.

Пару недель он вообще решил отдыхать, наслаждаясь жизнью. А потом некоторое время собрался поработать. И к осени намерен был вернуться в свои родные пенаты.

Однако знакомство с одной молодой особой ударило его по карману. Лодка, кино и постоянное питье лимонаду расшатали его бюджет.

Он кое-что ликвидировал из своих вещичек и вскоре убедился, что пришло время приняться за работу, чтобы продолжать то, что начато.

Он заскочил в первое попавшееся учреждение. И там обрадовались, что он счетовод, но вместе с тем удивились, что он приехал наниматься из другого города.

Директор сказал:

— Все-таки как-то странно. Жили в одном городе, потом вдруг приехали в другой. И почему-то зашли именно к нам. Непонятно.

Наш путешественник стал объяснять психологические мотивы своего приезда. Но это объяснение заставило директора еще более насторожиться. Бухгалтер этого учреждения некто Л-ов сказал директору:

— Иван Петрович, в облегчение людям введено правило брать от ворот. А мы устраиваем волокиту и перестраховку. Взгляните на документы приезжего. У него все в порядке. И только нет у него личной характеристики, каковую мы можем затребовать с места службы. Нам же до крайности нужны служащие: у нас некому проверить месячный отчет по пивным. Лично я пасую, если так будет продолжаться.

Директор сказал:

— Действительно, нам служащие нужны до зарезу. Один счетовод в отпуску, другой, свинья, отравился рыбой, третий — футболист — целый день кикает, готовясь к соревнованию. Тем не менее без личной характеристики я новенького не возьму.

Молодой человек сказал:

— В таком случае дело разрешается просто: вы берете меня на работу и тем временем запрашиваете мою характеристику. Вот как вам надо сделать.

Криво усмехаясь, директор сказал:

— А вдруг характеристика вовсе не придет. Или вдруг она придет такая, что, как говорится, унеси ты мое горе. Мы же вас решительно не знаем. А, может быть, вы сбежали от алиментов. Или, может быть, вы вовсе не счетовод, а бог знает, кто вы такой. Все это ляжет темным пятном на наше учреждение, репутацию которого мы привыкли дорожить больше, чем вами и подобными вам. Вдобавок вы не в том союзе состоите. Дуйте в свой союз и там разводите турысы на колесах.

Через пару дней молодой человек снова явился в это учреждение и сказал:

— Хорошо. Я подожду. Затребуйте мою характеристику. Но если она придет нескоро, то имейте в виду — я вылечу в трубу.

В конце второй шестидневки, узнав, что характеристики еще нет, молодой путешественник решил уехать в родные свои места.

Эта простая мысль обрадовала его и освежила. В самом деле. Черта лысого он тут будет сидеть.

Он поскакал на рынок, чтоб продать свои приличные суконные брюки и на вырученные деньги приобрести билет.

Его штаны понравились одному гражданину. И тот согласился их купить и вдобавок дать свои обыкновенные парусиновые брюки.

Но покупатель не захотел осматривать покупку на владельце. Он пожелал проверить товар на свет: нет ли дыр и какова потертость.

Недолго думая, наш путешественник влез в пустой ларек, стоявший на краю рынка, и через минуту выкинул на прилавок свои брюки, с тем чтобы покупатель убедился в качестве товара.

Осмотрев брюки, покупатель рассердился. Он сказал, что за это решето он не даст и рубля.

И от озорства, а отчасти от гнева, что не оправдались его надежды, покупатель швырнул брюки на крышу ларька, в котором наш злосчастный путешественник сидел в одной голубенькой майке.

Полчаса и больше просидел Ф. в ларьке, не зная, что ему предпринять. Потом он стал скликать прохожих, прося, чтоб они ему подсобили.

Два подростка стали орудовать палкой. Но ларек был высокий. И снять брюки оказалось не так уж просто.



Пугаясь, что подростки свистнут его брюки, Ф., озираясь по сторонам, вылез из ларька и стал руководить операцией.

Между тем собралась толпа. Кто-то припер лестницу, и под радостные крики собравшихся брюки, наконец, были сняты и торжественно вручены владельцу.

И в тот счастливый момент, когда поданы были брюки, к толпе подошел бухгалтер Л-ов, который имел обыкновение прогуливаться по рынку в обеденный перерыв.

Узнав молодого человека, бухгалтер крикнул: — Слушайте: только что пришла ваша характеристика, а вы тут на рынке околачиваетесь!

Узнав от бухгалтера, в чем дело, толпа зааплодировала путешественнику.

Дрожащими руками напялив брюки, Ф. вместе с бухгалтером поспешили в управление.

Директор, сияя, сказал: — Характеристика больше чем хорошая. Наше учреждение можно поздравить с ценным приобретением. Приступайте.

Ф. хотел было в счет аванса взять некоторую сумму, чтоб продержаться до жалованья, но оказалось, что это нельзя, так как он тут еще не работал.

Тогда сердобольный бухгалтер дал ему две двадцатки из своих, сказав: «Можете отдать через месяц».

Когда деньги очутились в руках путешественника, он подумал:

«А, собственно говоря, зачем я буду сидеть и томиться в этом городе? Лучше я сейчас куплю билет и уеду. А бухгалтеру верну долг по почте».

Эта остроумная мысль пришла ему по вкусу. Он побрел на вокзал и в тот же день уехал на почтовом поезде.

Хорошая же характеристика так и осталась в учреждении.

1939 г.

Крепкая женщина



Нынче все говорят о борьбе с проституцией и жалуют женщин. Вот, дескать, бедные: уволят их по сокращению, а они очертя голову идут на улицу.

И верно: жалко. Но, конечно, разные бывают женщины. Бывает — такая крепкая попадается — ей и улица не страшна. Знали мы одну такую. По фамилии Беленькая. Уволили ее по сокращению, дали ей за две недели вперед, а она повертела получку в руках и думает: — Прожру, — думает, — на пирожные. А там видно будет.

Пошла в кондитерскую, скушала сколько могла пирожных и домой вернулась.

— Ну, — думает, — а теперь труба. Либо мне в Фонтанку нырять, либо в Мойку, либо на улицу идти.

Помазала она брови сажей, губы — сургучом, шляпку с пером надела и вышла на улицу.

Постояла на углу. Вдруг мужчина какой-то подходит.

— Что ж, — говорит, — мамзель-дамочка, зря стоять простужаться. Пойдем на время.

А она развернулась — хлесь его в ухо.

— За кого, — говорит, — принимаешь, скотина? Не видишь?

Гражданин отупел, повернулся, галошу потерял и скрылся за углом. А девица гордо постояла и пошла домой.

Домой пришла.

— Нет, — думает, — это не в моем характере — проституция. Иные, конечно, уволенные по сокращению, бросаются очертя голову на улицу, а я не такая.

Подумала она, подумала, чего ей делать, и стала мастерить для продажи дамские шляпки.

Этим она теперь и живет. И жизнь роскошная.

А материал для шляпок доставляют ей гости. Денег она с них не берет, а берет материей.

А вы говорите — проституция.

Назар Синебрюхов

1923 г.

Пожар



А очень, братцы мои, любопытный факт произошел в наши дни.

Газета «Гудок» отметила это выдающееся событие на своих славных страницах. Но мы еще желаем слегка подбавить пару. Уж очень невозможно получилось.

Однако, не желая конфузить перед судом серых героев этого события, не будем указывать в своем художественном произведении точного ихнего местопребывания. Скажем только, что там за люди-человеки. Так вот. Сейчас увидите.

Была-находилась недалеко от станции лавка гражданина Федора Балуюва. Мелочная торговля. Ну, одним словом, — частное предприятие. Частник, одним словом, в этом населенном месте раскинул свои сети и заманивал туда покупателей.

И вот раз однажды, в субботу вечером — возьми и загорись этот частник.

Говорят, от оброненной папироски у него товар вспыхнул. Небрежность какая! Докидался, темная личность.

Значит, вспыхнул пожар. Произошла тревога. Дым столбом. Крики.

В набат не звонили — потому церковь была на сносе. Электрической сигнализации тоже здесь не было. Не в Ленинграде. А просто один гражданин-любитель побежал на своих ногах до этой пожарной команды.

Добежал до этой команды. Кричит: — Эй, черти! Пожар горит! Выезжайте.

Тогда выходит на этот крик ихний брандмейстер на крылечко. Яблоко жует. После котлет закусьвает.

— Чего, — говорит, — орешь, балда? — Так что, — говорит, — пожар горит. Можно выезжать.

Ихний брандмейстер говорит: — Видим. Не слепые!

А видеть действительно можно было. Пламя довольно высоко к нему поднималось. Искры, конечно, сыплются. И дым глаза ест.

Ихний брандмейстер говорит: — Довольно вам странно, гражданин, орать.

— А что?

— А то! Кто горит? Балуюв горит? А кто есть

Балуюв? Кооперация? Балуюв есть частник. Ну, и пушай его горит. Чище воздух будет. А вы, — говорит, — товарищ, не нарушайте тут классовой линии своими криками. Не то знаешь, чего бывает.

Гражданин-любитель, конечно, сконфузился за свою отсталую идеологию и поскорее смылся.

Особенного переполоха среди населения не было. На этот раз массы довольно сознательно отнеслись к факту. Тем более, что лавка стояла несколько в стороне от селения. И ветру в ту пору не было. Погода была ясная. Так что особого беспокойства, я говорю, не произошло. Хотя народу довольно много собралось поглядеть на это зрелище.

Сам частник сидел на камешках напротив пожара и особенно в огонь за имуществом не кидался.

— Нехай, — говорит, — в крайнем случае мое имущество застраховано. Не тушите.

Вскоре, значит, пожар догорел, и народ разошелся по своим халупам.

А частник пошел ночевать к своим родственникам.

Вскоре, говорят, над пожарниками состоится показательный суд за ихний, так сказать, левый уклон и убеждения.

А тоже ведь сразу не угадаешь, чего требуется.

1928 г.

Дешевая распродажа

Такой есть город Красногор. Первый раз слышим. Но раз газеты пишут, значит — есть.

А только может это и не город, а местечко. Пес его разберет. Газета этого вопроса не затрагивает. А мы, в свою очередь, эту ботанику и минералогию маленько подзабыли.

А расположен этот город не то под Харьковом, не то под Полтавой. Во всяком разе, телеграмма дадена из Харькова.

А очень оригинальный этот город Красногор. Там, знаете, то есть, буквально нет ни единого человечка, который бы не состоял в союзе. Вот какой это город. Истинная правда. Там, предположим, торговец или дьякон — и те в профсоюзе. Прямо противно.

А по улицам там так и ходят члены профсоюза. И все, знаете ли, металлисты. Куда ни плюнь — все металлисты. Домашняя хозяйка — и та металлист. Прямо противно.

От этого факта некоторые начальники даже испугались.

— Господи, — думают, — с чего бы это так густо металлист пошел?

Бросились начальники к металлистам. К такому, может знаете, секретарю райкома металлистов Кийко. Фамилия у него такая.

Говорят ему: — Товарищ дорогой, с чего бы это случилось? Человека ведь нет в городе, чтоб он не металлистом был.

— Да ну? — удивился секретарь. — Неужели же, — говорит, — до того дошло? Оно, действительно, последнее время делишки у нас неважные пошли. Прямо хоть закрывай лавочку. Никто, то есть, за членскими книжками не идет. А оно вон что — потребителя не осталось. Всех, оказывается, удовлетворили.

Тут, конечно, и приперли этого секретаря. И еще кой-каких ребят.

Ну тут и обрисовалось положение. Тут-то и выяснилось. Тут-то и оказалось, что работала целая компания. И устроила эта компания вроде дешевой распродажи членских книжек.

Торговали дешево. Чуть не задаром. Рубликов за пять книжонку с пятилетним стажем выдавали. А которому элементу непременно охота было нагнать побольше стажу — гони всего десятку.

Вот какие грубые дела на свете творятся.

Но это, небось, только в Красногоре. В других городах все отлично и симпатично. Дела идут, контора пишет и членские книжки на комод.

Гаврила

1926 г.

Тяга к чтению

В библиотеках-то что делается! Это ужаси! Ежедневно масса книг гибнет. Пропадают ценные экземпляры. Разные дорогостоящие учебники — Малинин и Буренин. Разные уники — физика Краевича и так далее.

Кроме пропая, читатели вырывают особо нужные страницы. Выдергивают рисунки. Пишут на полях разную муру.

Все это, может, срывает культурное начинание. Все это, может, разрушает транспорт. Или не то, что транспорт, а вообще не оправдывает своего назначения.

И может быть до того дошло, что читателя и писателя допускать до книг не приходится. Газета так и пишет, — дескать, сейчас очень много развелось книжных вредителей и жучков-читателей.

Чего делать на этом фронте — неизвестно. Или по рецептам книги выдавать? Или еще как.

Тут у нас мелькнула одна идея. Не знаем только, что Наркомпрос скажет. А идея вполне жизненная.

Это, как видите, читательское сало. И сидят читатели. И близко к книгам их не допускают. Книги сами по себе, а читатели и писатели тоже сами по себе. А дают им бинокли и подзорные трубки, и через это они со стороны глядят в книги. И таким образом происходит массовое чтение.

Специальная боковая барышня страницы перелистывает. Тут стоит охрана. Тут барьер. Чтоб народ не кидался.

Таким образом за цельность книги можно поручиться.

Хотя является вопрос, как же бинокли? Не уперли бы эти дорогостоящие инструменты? Хотя в крайнем случае бинокли можно будет к столам привинчивать, а библиотеку оцеплять охраной.

Надо же на что-нибудь решиться. Жалко же.

Гаврильч
1928 г.

карманная кража



В настоящее время очень уж воры плачутся.

— Очень, говорят, суровая эпоха подошла, — хоть закрывай лавочку.

И карманники, и бандиты в один голос это заявляют.

А это верно: чего красть в наше время? Богачей у нас нету. Народ все безлошадный. Руку в какой-нибудь дырявый карман сунешь — и сам не рад.

Которые говорят: пальто с прохожего снято — опять-таки мало интересу. Польта пошли дешевенькие. Не рентабельно.

Одним словом, кому-кому, а вора́м определенно худо. Брать нечего.

Конечно, некоторые ребята ухитряются на разные штуки. Как давеча было отмечено в печати:

Кража панельных плит. На Петроградской набережной неизвестными ворами похищены панельные плиты.

Всего уперли 51 плиту. И запродали в Жакт по Кронверкскому проспекту по сходной цене — по семь гривен штука. Итого, сами считайте, — 35 р. 70 к.

Эта карманная кража произошла в Ленинграде. Товар вывозили на подводе.

Одним словом, жуликам в настоящее время довольно туговато приходится.

Гаврильч
1928 г.

✉

Утверждение, что атомным электростанциям нет альтернативы, ложно. В «Комплексной программе научно-технического прогресса в энергетике до 2010 г.», разработанной Институтом энергетических исследований Академии наук СССР, говорится о больших и все возрастающих запасах газа. Таким образом, газовая программа считается главной в энергоснабжении страны на ближайшие 15—25 лет. Собственно, эта программа уже осуществляется, поскольку, как известно, прекращено развитие некоторых действующих АЭС, строительство и проектирование ряда новых, принято решение об остановке Армянской. К сожалению, из-за необоснованного увлечения АЭС упущено время для строительства ГРЭС на газе, что на ряд лет ставит энергетику страны в тяжелое положение.

Другая альтернатива — энергосбережение. Когда в 70-х годах резко (в 10—20 раз) возросла цена нефти, развитые промышленные страны немедленно отреагировали. Резко снизили потребление энергии путем перехода на энергосберегающую технологию. В нашей стране, богатой сырьевыми ресурсами, которые мы беспощадно транжирим, этого, к сожалению, не произошло, и по энергосбережению мы сейчас находимся на одном из последних мест в мире: на тонну меди мы затрачиваем в три с лишним раза больше электроэнергии, чем в ФРГ; на тонну цемента — в 2 раза больше условного топлива, чем в Японии... Еще расточительнее электроэнергия расходуется в быту из-за крайне низкой экономичности домашних приборов и применяемых для освещения устаревших ламп накаливания, от которых, например, в Японии почти повсеместно отказались. Энергопотребление Швеции — при значительном росте экономики — находится сейчас на уровне 1973 года!

И вот обобщающий показатель: у нас производится электроэнергии больше, чем во всех странах Европы, вместе взятых, хотя по общему объему производства и услуг мы значительно отстаем от них.

Несомненно, внедрение энергосберегающих технологий может значительно сократить нашу потребляемость в энергии, что, кстати, обойдется в несколько раз дешевле, чем строительство новых электростанций.

В Крыму сотни котельных, работающих в основном на угле и мазуте, которые наряду с автотранспортом создают над всей курортной зоной облака смога, сводящего на нет целебное воздействие курорта. Неоднократно рассматривался вариант перевода Крыма на электроснабжение. Однако это связано с таким возрастанием коммунально-бытовых электрических нагрузок, что этот вариант отвергли не только как экономически тяжелый, но и как практически невыполнимый. Единственным радикальным решением является обеспечение Крыма газом с переводом на него, как наиболее экологически чистое топливо, всех действующих и новых котельных. Значительный эффект в теплоснабжении Крыма могут дать тепловые насосы, при которых расход электроэнергии сокращается в 3—3,5 раза по сравнению с прямым электротеплоснабжением. Тепловые насосы достаточно широко используются за рубежом. Они особенно выгодны в прибрежных районах, когда ими используется тепло морской воды. В удаленных от берега местах может потребляться тепло сбросных вод промышленности и коммунального хозяйства. И сочетание тепловых насосов с гелиоустановками дает приличный экономический эффект.

Да, строительство Крымской АЭС надо остановить, а пока идут споры — нельзя допускать загрузки реакторов

ядерным горючим. Но проблему дефицита электроэнергии надо решать. На мой взгляд, тут возможны такие варианты: строительство мощной ГРЭС на газе, на что, по расчетам специалистов, потребуется (начиная от принятия решения до пуска первого агрегата) около 10 лет. Если ГРЭС соорудить на площадке АЭС, то этот срок, видимо, удастся несколько сократить.

Второе. Изыскание трассы возможно через мелководную часть пролива, и сооружение дополнительной мощной линии электропередачи из объединенной энергосистемы Юга.

Независимо от этого должны развиваться и нетрадиционные энергоисточники: гелиоустановки и ветряные двигатели, а также тепловые насосы.

Значит ли это, что от АЭС надо отказаться? Нет, не значит. Но размещаться они должны не по рекомендации академика А. Александрова «абы подешевле» в густонаселенных районах и едва ли не на болоте (Чернобыль), а по концепции академика П. Капицы — в отдаленных, малонаселенных районах, с дальними линиями электропередач от них; или по концепции академика А. Сахарова — в кристаллических породах, с заглуплением внутри на 100 метров и специальной изоляцией. Конечно, это значительно ухудшит конкурентоспособность АЭС по сравнению с другими энергоисточниками. Но во что обходится погоня за дешевизной, мы уже, к сожалению, знаем.

М. ГИТМАН,
инженер-энергетик,
Москва

✉

Открыв страницу «Смены» (№ 19 за 1988 год) на материале «Скорбь и память», так и оставил ее незакрытой... Боль сжала сердце...

Вы просите «не отводить глаза» от фото В. Щеколдина, зафиксировавшего горе матерей и отцов. Созерцаем, горюем. А что дальше?

Уважаемые журналисты, доведите дело до разумного завершения: добейтесь утверждения отличительной медали матерям, потерявшим детей в Афганистане. Конечно, любые награды не будут утешением для матери за гибель сына, но женщину с таким отличительным знаком станет почитать народ...

Р. МУХАМБЕТЬЯРОВ,
г. Темиртау

✉

Мы учимся в Московском инженерно-физическом институте. Учиться у нас сложно, и по сравнению со студентами других вузов нам платят неплохие стипендии — 55 рублей. Но, разумеется, получить стипендию нелегко, а отличники в прямом смысле работают день и ночь. Начисляют им стипендию, как и везде, на 50 процентов больше, то есть 82 рубля 50 копеек. Однако с этой суммы уже высчитывается подоходный налог. Поэтому студенты-отличники получают на руки 76 рублей. И вот что получается: если бы им начисляли меньше, например 79 рублей 93 копеек (вместо 82 рублей 50 копеек), то они бы их и получили полностью, а не 76 рублей, как сейчас! Поймите, дело не только в этих рублях. Главное, фактически теряются надбавки за отличную учебу. Да и вообще как можно брать налог со студентов, если они даже при стипендии 80 рублей вряд ли могут содержать себя самостоятельно и вынуждены тянуть с родителей в течение шести лет. Конечно, некоторые подрабатывают. Но в нашем сложном институте выделить на это время удается далеко не каждому...

Кто объяснит нам существующую несуразность? Кто примет разумное решение?

Н. НИКОЛАЕВА, О. ЗАРАЙСКОВА,
Москва

ПРОДАЕТСЯ ДОМ...



Алина ЧАДАЕВА
Фото Евгения СТЕЦКО

Художественный отдел в краеведческом музее Ветлуги (впрочем, как и в музее любого районного городка) напоминает антикварную лавку. Здесь можно вдоволь любоваться перламутровыми сценами из китайской жизни; вереницей ажурных ламп, некогда украшавших дворянские гостиницы; флорентийской мозаикой шкатулок... Непременный Айвазовский; загадочные натюрморты неизвестных голландцев; вдруг — неожиданный Верещагин — «Водопад Кюперли»; рядом с пейзажем — стенные часы в готическом футляре.

Я знаю, как любят бегать сюда дети из художественной школы. Счастливые, они ходят по улицам, где дома родственны музейной галерее искусств. Большинство выстроено после грандиозного пожара 1890 года. Седины столетних деревянных стен отливают серебром и многолетним медом — бревна венцов. Дома еще несут в себе инерцию пращурских представлений об окнах-очах, о челе-фронтоне, о наличниках на лице дома. Бегут по многоярусным карнизам, по уцелевшим воротам резные узорочья оберегов — мотивы солнца, мотивы листьев — с того райского Древа жизни, память о котором живет в сокровенных кладовых любого народа.

Близок обликом и подобием идеальному человеку ветлужский деревянный дом. Статен, но не заносчив, величав, но не спесив, олицетворение олагородства и скромности — архитектурное зеркало родового, семейного уклада живших в нем людей. Дом и сад — понятия для Ветлуги неразрывные. Сад и огород и большое подворье, где размещаются хлев с сеновалом, амбар и баня и колодец. Возделывать землю, держать скот, птицу было здесь делом обычным для всякой семьи — врача ли, учителя, священника или мещанина.

Помню воскресные, изобильные снедью базары Ветлуги. Помню, как городские хозяики выгоняли из ворот своих буренок, и пастух гнал ста-



строена в 1805 году в византийском стиле, со скульптурами четырех апостолов, вознесенных на верхний ярус.) Глаз детей и взрослых давно привык и не замечает кошмарно-диссонанса — лозунга, зовущего «к победе коммунизма», и продырявленных трубами поперечных стен. Четверик обезглавленного Воскресенского собора «о пяти верхах», как утверждал историк Д. А. Марков, — прототипа московского храма Христа Спасителя — ныне хлебозавод. Возле него часовня в русском стиле, с шатровым покрытием, воздвигнутая в память о правительственной помощи ветлужским погорельцам 1890 года, полуразрушена и приспособлена под трансформаторную будку.

Невежество, буруеваемое страстями, крушило здесь, как и повсеместно, зодчество отцов с отнюдь не провинциальным — столичным! — размахом, оставив на память потомкам руины, кое-как приспособленные под производственные цели.

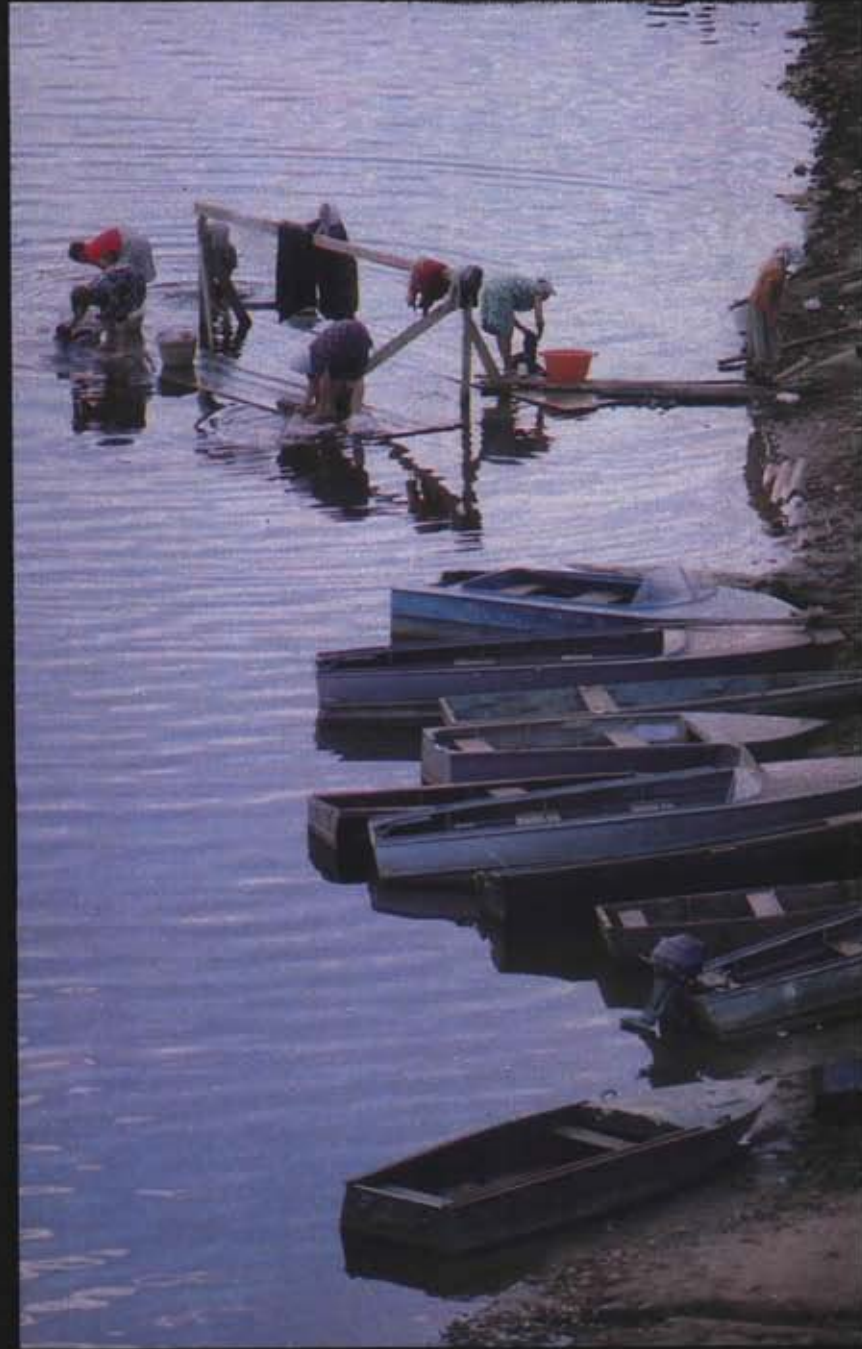
«Сделаем Ветлугу городом образцового содержания!» — гласит гигантский плакат, закрывающий два этажа вполне крепкого, но обреченного на снос дома. Не таким ли обра-

зом и собираются отцы города сделать Ветлугу «образцовой»? Благо за примерами недалеко ходить: Звенигород, Александров, Загорск — несть числа русским уездным городкам, превращенным на наших глазах в комбинации кубиков из бетона и кирпича, посреди которых с печальным укором доживает свой век показушно оставленная старинная улочка.

Планируют и здесь, в Ветлуге, нечто аналогичное. Цитирую заместителя председателя райисполкома Ю. А. Филиппова: «Принято решение исполкома горсовета о восстановлении центральной улицы города в первоначальном виде».

В тот самый момент, когда районный архитектор Сергей Блинцовский благостно развертывал передо мной эскизные миражи, рухнул угол старинного здания банка в неравной схватке с экскаватором. Все ринулись к банку, и вскоре зияющую дыру загородили фанерой и милиционером, а назавтра готовились обрушить угрожающе накренившуюся треть дома.

— Вот она, ваша реставрация, — не без злорадства кинул мне на бегу зампред Филиппов.



— Экскаватор не реставратор, — успела я возразить.

Саблезубая «машина времени», дай ей волю, превратила бы старинный русский городок в образцовый пустырь: нет дома — нет проблемы.

Проблема есть: отроческие глаза познают практическую отечественную историю в основном за стенами школы. Всякое событие, происшедшее в родном городе, словно под микроскопом, увеличивается на провинциальном мелководе в модель общесоюзную. Дети водили меня «на высокий на берег реки» показать дом, о строительстве которого с возмущением говорили взрослые. По всему городу прошел негласный референдум на тему, справедливо ли поступил новый председатель райисполкома Н. Г. Смирнов, вселившись в кирпичный особняк, выстроенный на месте спешно снесенного деревянного дома. Персональный комфорт — синдром номенклатурной власти... Он рожден не провинцией, а провинциальностью души, которая высокомерно глуха и к нуждам горожан, и к письмам, чающим справедливости.

Добро бы, касалось это только личного обустройства. Но ведь наста-



до в Наволок, к реке. А кустари из Варганихи, Уреня, Семенова выставляли на продажу черно-пощенные античные корчаги, берендеевы пестера, плетенные из бересты, веселые расписные деревянные игрушки. Городок в десять тысяч жителей испокон веку славился лесными угодами, льном, рожью, овощами, покосами... Думаю, что отраден был бы этот патриархальный пейзаж и сегодня, когда слово «продовольствие» имеет суровый оттенок карточной системы.

...Знакомая моя ветлужанка, десятилетняя Надя, и ее школьные друзья никаких таких «пейзажей», естественно, не помнят. Дети видят сегодня свою родную Ветлугу, какой наследовали ее от ближайших предков: еще живой, хоть и с невосполнимыми утратами. Им и невдомек, что главная улица упирается в прокопченный четверик взорванной Троицкой церкви. (А была церковь эта по-

нет одно прекрасное утро, когда ветлужане узнают, что за их спиной, в закулисной междусобойчике или, как принято называть, «на уровне руководителей», был обсужден и отправлен на согласование в Горький генеральный план застройки Ветлуги, рассчитанный до 2005 года. Хлопотно, а потому и необязательно выставлять проект на всеобщее обсуждение горожан. Куда практичнее — поставить их перед фактом уже согласованного с областью генплана, а там — обсуждайте хоть до посинения... Пусть потешатся, поговорят, поиграют в демократию, для этого и лозунг вывешен на кинотеатре «Живое творчество масс — решающая сила ускорения!». За модным, внешне подновленным идейным фасадом в районном городе Ветлуге остается прежний волонтеристский, волевои стиль руководства.

«Поддержите меня, ветлужане!» — взывает житель города Н. Лебедев к согражданам. «Почему, — размышляет он в местной газете, — варварство в отношении к старинным зданиям не хотят видеть ни ответственные работники города, ни органы охраны памятников истории и культуры?» И предлагает открыть счет в отделении сбербанка: жители Ветлуги не пожалуют личных средств для восстановления своего города.

Продолжу мысль земляка. Ветлужанам нужно ратовать за то, чтобы город был объявлен заповедным и вошел в число городов-музеев, какие должны быть во-



круг каждого областного центра. Областное «Золотое кольцо».

Однако дамоклов меч стереотипного генплана уже занесен над Ветлугой. Его авторы — архитекторы «Горькгражданпроекта». Иными словами, варяги из областного центра, которым безразлична культурная история города, его эстетическая целостность. Не без оснований опасуюсь, что эти категории не представляют ценности и для главного районного начальства, тоже в основном людей приезжих, временных. Иначе разве прибежала бы в горсовет, разыскивая меня, Анна Павловна Коломарова, старая учительница из той, прежней, настоящей интеллигенции. Искала она корреспондента, отчаявшись убедить власть предрешающих в необходимости мемориальной доски на доме, где родился выдающийся ученый Лев Дмитриевич Шевяков. «Ведь не каждый город может гордиться столь замечательным...» А город и не гордится. Спросите подростков, знают ли они имя академика Шевякова, неразрывно связанное, скажем, с освоением Курской магнитной аномалии, с разработкой теории оптимального проектирования крупных горных предприятий? Нет, не знают.

Увы, стены ветлужских домов не стали мемориальной летописью славных ее сыновей, подвижников культуры и науки. Только в памяти старожилов да в ветхой книжечке Д. А. Маркова «Ветлужский край», изданной в 1922 году, брезжат выцветшие в забвении имена. Жил когда-то в Ветлуге помещик Смецкой — основатель Сухумского дендрария; выходец из здешних мест В. Ф. Лугинин был крупнейшим русским термохимиком; сам Д. А. Марков — выдающимся историком и краеведом... И что же: об этих людях помнит мировая наука, их чтят в столичных институтах, но не на «малой родине».

Невежество порождает беспамятство... В чем изощрены проектировщики и их ветлужские защитники, так это в обосновании градоразрушения, которое ведется под флагом градостроительства. Классическая (ее

сравнивают с петербургской!) планировка старых кварталов будет нарушена кирпично-казарменными монстрами, натканными за счет урезания тех самых приусадебных земель, которые и создавали нравственно-трудовой уклад семьи. Теперь же оказались не соответствующими «городским нормативам».

«Снесем!» — вот рефрен деятельности архитектора Блинцовского. Мне трудно объяснить торжествующие интонации в прожектах по «снесению», точно перед ним и впрямь вражеские фортификации, а не рукотворные памятники мастерства славных русских зодчих. Традиция, что ли, такая: вместо неповторимого — насаждать типовое. Типовая школа, типовое жилье, типовой кинотеатр, типовое мышление... Так и преуспеем в воспитании Иванов, не помнящих не только родства, но и того, что они Ивановы.

Кто-нибудь подсчитывал, во что нам обходится снос наших городов во имя прихоти временщиков? Вырубают парки, чтобы строить дома; сносят дома, чтобы «вынести парковую зону», как это предполагается сделать в Ветлуге. Абсурд, узаконенный множеством инстанций, облекается в статус генплана, который уже влетел в копеечку, ибо деньги, отпущенные облисполкомом на планирование, по словам того же Блинцовского, «съедены» институтом «Горькгражданпроект». А сколько еще будет «освоено» при реализации генплана!

И вся эта разрушительно-строительная эпопея разворачивается в обнищавшей Ветлуге, столице района, нерентабельного почти по всем отраслям сельского хозяйства. Цитирую районную газету: «Картофельводство и льноводство убыточно во всех колхозах. ...Овцеводство убыточно во всех колхозах. ...Себестоимость сельскохозяйственной продукции возросла... Низкое качество молока... падеж животных». Добавить ли к этому, что только одна семья в Ветлужском районе рискнула выйти на семейный подряд...

По мнению С. Аверинцева, «русско-му человеку трудно перестать мыслить о красоте как ориентире в по-

исках истины». Прошу Надю и ее друзей показать мне самое любимое место в городе, они ведут меня в музыкальную школу.

Здесь и впрямь славно, в доме, когда-то принадлежавшем пианистке Латухиной, воспитаннице Пражской консерватории. Здесь — оазис наследной интеллигентности русского городка — чеховского, бунинского. В декорациях старинного дома — изразцовые дивные печи; окна так высоки, что кажутся взглдом в небо; распахнуто крыло концертного рояля, словно, не прерываясь, десятилетиями звучит тут музыка.

Все новые поколения детей постигают гармонию звуков, концертируют в уютной камерной гостиной. И не случайно, наверное, четверо из пяти преподавателей — выпускники этой школы.

Наде хочется, чтобы ученики художественной школы, где она занимается, ходили слушать концерты в музыкальную. Педагоги же мечтают о создании в Ветлуге единой многопрофильной школы искусств. Я бы подсадила: с практическим уклоном. Почему бы не обучать в ней специальности резчика по жести и железу? Чтобы восстановить ржавеющую славу веселых ветлужских дымников, похожих на дворцы из андерсеновских сказок; изящные «флейты водосточных труб»; кокошники навесов над крыльцом. И плотницкому мастерству, которое бы так сгодились для обновления полифонии резного деревянного декора Ветлуги.

Николай и Людмила Коптеловы, давно работающие в здешней художественной школе, радуются раскованности детей в рисунках. «Точно весь мир для них — радостный сад!» Да, правда, правда: сад, который любовной кистью расцветивает сама природа. Увидела на клочке бумаги Надины стихи: «Белая метелица по дороге стелется. Травку заметает, во саду гуляет»...

Стараниями педагогов и детей в школе собран значительный художественный фонд. Предметы, служившие не один век в крестьянских избах, стоят на стеллажах — откры-

ты, доступны. Прялки, вальки, рубели, паровые утюги — персонажи домашнего мироздания и одновременно — модели космогонических народных представлений. Старый город, выстроенный с тщанием и любовью к земле, пестует, нянчит потомков своих первых забытых владельцев. Учит их не оскорблять землю нелепостью и безобразием. Но...

Моя знакомая девочка Надя не живет больше в старом городе. Недавно вместе с родителями она переехала в новый микрорайон. Сейчас в Ветлуге строительный бум. Я присутствовала на экспресс-совещании в кабинете зампредрайисполкома, где отчитывался в ремонтных работах начальник СМУ Б. Кадыков. Выяснилось: из того, что запланировали на год, выполнили всего треть. В критическом положении старый жилой фонд, детская библиотека, Дом культуры, туберкулезный санаторий и прочее... СМУ захлебывается в строительстве огромных районов, которые почему-то именуются «микро».

Многие хотят попасть в «микро». Доска объявлений возле базара забита объявлениями: «Продается дом. Срочно. По сходной цене».

Отчего стремится в микрорайон владелец своего дома в Ветлуге (как и в любом другом городке)? Оттого, что не в силах он дом свой отремонтировать, ему не на чем и неоткуда завести дров на зиму, не дают приличных сенокосных угодий. «Да про-



пади все пропадом!» — махнет рукой горожанин, повесит объявление о продаже дома родимого и встанет в очередь на квартиру в «микро».

Отчего бежит в райцентр крестьянин из «неперспективных» деревень, кормивших когда-то всю матушку-Россию? Обойдите ближайшие к Ветлуге — и поймете. Непролазное бездорожье. Никакого мало-мальского обустройства для жизни нормальной. Мудрено ли, что в деревушках типа Афонихи, Морозихи через один — вымороченные, заколоченные дома. И вот вместо того, чтобы главные строительные силы и ресурсы сосредоточить в деревне, вернуть исконный интерес к земле, которая не бывает неперспективной, власти района, по сути, поощряют опустошение деревень, концентрируя строительство в райцентре.

«Растет, хорошеет старинный город»... Растет — да. Как мутантный гриб после кислотного дождя, создавая антиэстетическую, депрессивную среду. Здесь, в микрорайонах маленьких городков России, окончательно добывается, разрушается традиционный уклад жизни провинциальной семьи. К многоэтажкам не прирезаются земельные наделы, нет надворных построек. Кроликов, свиной люди держат в сараях для дров, вовсе для того не приспособленных. В абсурдном хаосе строений — ни деревца, ни детской площадки.

Что же касается обетованных удобств, во имя которых продают-

ся, бросаются дома, то удобства эти не более чем миф. Кривые, незакрытые двери и рамы; сырые, плесневевшие стены; холод.

...В Ветлужском музее областно дозволено подбирать тон и материал экспозиций, исключаящие мало-мальски критический взгляд на сложные и трагические явления нашей жизни. Только в Ветлужском? Есть ли в провинциальной России музей, осмелившийся быть объективным?

Не по воле неуживчивого нынешнего директора кровавые драмы коллективизации будто миновали Ветлужский район. В экспозиции этот период представлен с наивной простотой — фотографиями председателей колхозов тех лет. А что о миграции из деревень сегодня? О посягательстве на архитектурный ансамбль города вчера, завтра? А вот что: «Ежегодно за год осваивается на строительстве объектов производственного и социокультурного назначения более семи миллионов рублей». А о взорванных храмах, о заживо погребенном в 30-е годы архiereе Неофите?.. Молчаливая, без слов, экспозиция нескольких икон да одежды священнослужителей.

...С кем играем в прятки, стоя перед помпезными витринами «наших достижений» в окранных музеях? С застарелой болезнью страха или упорным нежеланием признать ошибки? И в том, и в другом случае диагноз печален: время культа и культиков пыталось — и безуспешно — изменить саму природу русского человека. У него словно появилась другая национальность: чиновник. Спектр чувств и мыслей от угодливого «чего изволите?» до бездумного «будет сделано!».

Три года назад, в разгар антиалкогольной кампании, в Ветлуге был закрыт старейший спиртзавод. Сырьем ему служил всегда урожайный на этих землях картофель, продукция шла на медицинские нужды и на ликеро-водочный завод; бардой снабжался животноводческий комплекс откормочного совхоза. Секретарю РК КПСС той поры Деньжонкову, который для Ветлуги теперь «бывший», наверное, интересно узнать, чем же обернулось угодливое поспешание. Оборудование остановленного заво-

да растащено. Картофель в течение двух последних лет закапывался бульдозером в землю за ненадобностью. Совхоз остался без ценного корма. Зато ликеро-водочный завод работает в Ветлуге на полную мощность... на привозном сырье. Но самое абсурдное в этой, далеко не единственной истории преступного «хозяйствования», что нет в ней никаких ответчиков, будто все само собой было, жило, а потом взяло и распалось.

В каком, скажите, городке не проигрывают извечный гоголевский сюжет о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем? В ветлужской истории две соседки (одна — учительница, другая — воспитательница) затеяли тяжбу из-за того, что гараж одной и баня другой оказались несовместны. Председатель горсовета А. Крюков, не мудрствуя, приказал гараж снести. Исполнял волю начальника руководитель коммунальной службы Игорь Дубинов. Он молод, по происхождению крестьянин, выходец из села Калинина. В кабинете у начальника Дубинов (цитирую) «прослушал какой-то документ, чего-то в случае нарушений со строительством гаражей. Я не вникал в то, что читали, и в существо дела не вникал. Собрал людей, каких надо, технику, какую надо, ну и отправил».

Представляете, если бы условия задачи были предложены в зталонном 37-м...

Спрашиваю начкомхоза: видел ли он генплан развития Ветлуги, будучи в числе «руководящих»? Да, видел. Планом этим вполне доволен: «По моему ведомству там все нормально». — А по другим? — Непонимающий взгляд: «По другим я не вникал, это мне не нужно».

Откуда этот конторский взгляд на мир? Неужели все еще безотказно работает заорганизованная психология «винтика», пересиливая и молодость, и мужицкую закваску ныне городского столоначальника? Мир кастрофически сужается для него до «участка работы», существующего как бы вне связи с прочими «участками». Участки, зоны... Видения из жуткого сна.

Оставленная, преданная запусте-

нию земля и душу отступника приведет к запустению. Не об этом ли говорит нравственный климат окраин супергородов, заселенных выходцами из деревень? Человеку и земле на роду написано быть сообщающимися сосудами. Не провинциальное это — национальное бедствие, когда разбивают, разрывают их единство. Из обоих вытекает живая жизнь.

Провинциальный русский город тем и сейчас еще нравственно более или менее здоров, что корни его — в крестьянском отношении к земле. Вот она — под его окном, не за тридевять верст, не под асфальтом. Ее и кормить надо, а в засуху — поить и дать отдохнуть. А уж она отдаст: цветами, плодами, ладом душевным. Этим-то ладом и сберегается, питает себя в одноэтажной России национальный характер, в идеале — бескорыстный, подвижнический, приверженный высокой идее.

Но утратившие корни люди якобы во благо развития и прогресса не мытьем, так катаньем стараются разрушить традиционный смысл существования провинциального города, вынуждая коренных жителей продавать дома; сносят с лица земли красоту. Микрорайоны, блокированные застройкой окружают, берут в плен старые города. По своему бездуховному, казарменному подобию формируют наших детей.

Продается дом... Вместе с ним — память о роде, малой родине.

— Покажи мне самое печальное место в Ветлуге, — попросила я Надю.

И она привела меня в конец старинной улицы, где — я помнила с детства — шумели вековые кроны небольшого парка. Им, наверное, ведомы были те давние времена, когда лапотные посланцы села Верхнее Воскресенье на дворцовом паркете Екатерины II «выплясали» по прихоти царицы своему селу статус города и название Ветлуга.

Это происходило в 1778 году.

...Повержены великаны-деревья. На их месте выкопан котлован: здесь будет заложено кирпичное строение на двенадцать квартир для руководящих работников.



В последнее время экраны кинотеатров захлестнула волна фильмов, содержащих элементы эротики. И надо сказать, что их натуралистическая смелость в изображении интимных отношений продолжает нарастать. В каком направлении несется этот поток? Сметает ли он ханжескую мораль застойного прошлого или увлекает советских граждан в бездну буржуазной идеологии и ее проводника — порнографии?.. Владельцы видеомагнитофонов давно уже столкнулись с этой проблемой, причем не только с ее моральным аспектом, но и с юридическим. Об этом и других вопросах видеокультуры наш корреспондент Евгений ФЕДОРОВ беседует с кандидатом философских наук, кандидатом искусствоведения, председателем экспертной комиссии по уголовным делам, связанным с видеопродукцией, Владимиром БОРЕВЫМ.

— Не секрет, что многие люди попали под суд только из-за того, что имели несчастье смотреть дома видеофильмы, признанные официальными инстанциями порнографическими... Не могли бы вы назвать наиболее типичные дела, проясняющие суть проблемы?

— Суть, как вы говорите, в том, что человек попадает в тюрьму за преступление, которого не совершал.

Майор Советской Армии, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны, кавалер 10 боевых наград Александр Артемьевич Кузьмин из Уфы был осужден по статье 228 УК РСФСР и, несмотря на все бывшие заслуги и почтенный возраст, провел в тюрьме два с половиной года за совершенно невинный фильм.

Москвич Валерий Акимович Столяров, по случайности тоже военный — подполковник в отставке, — провел в изоляторе временного содержания среди убийц и грабителей 15 месяцев, и только после этого Экспертная комиссия при Прокуратуре СССР, просмотрев видеокассеты, изъятые у Столярова, пришла к выводу, что ни одна из них не содержит порнографии или пропаганды насилия. Валерий Акимович был признан невинным «за отсутствием состава преступления».

Относительно легко отделались москвичи В. Пронин и В. Ларин: штрафы по 300 рублей плюс конфискация злополучных видеокассет с фильмами «Частные уроки» и «Последний девственник в Америке».

Кстати, из-за последнего фильма пострадал и бывший житель города Северодвинска Г. Лаврухин, с января 1986 года отбывающий срок в местах не столь отдаленных. «Компетентными специалистами» фильм был признан порнографическим, и это дало повод прокурору Архангельской области В. Мыльникову сообщить заключенному неутешительные вести: «Оснований для принесения протеста в порядке надзора не усматриваю».

Врач из Уфы Г. Ойринг получил по максимуму — 3 года лишения свободы за фильм «Греческая смоковница» (наиболее пикантные моменты из этой ленты были показаны по ленинградскому телевидению в программе «Пятое колесо»), а также за фильмы, признанные горе-экспертами «условно-порнографическими» (?) — с участием звезды мирового кино Чарльза Бронсона «За десять минут до полуночи», а также «Крестный отец» и «Пришелец из космоса» (II).

Этот список можно продолжить. Но что особенно страшно: за каждым «видеоделом» — изломанная человеческая судьба. Среди пострадавших можно назвать И. Райцина из Черновцов, С. Ванинина из Свердловска, В. Гадросека из Шадринска. Почему-то наши правоохранительные органы считают,

что гораздо лучше человека посадить, нежели подвергнуть штрафу (что предусматривает статья 228), несмотря на то, что он попался первый раз, что он — заслуженный человек... Но, впрочем, даже те немногие, кто отделался выплатой штрафа, все равно оказались в жутком, я бы сказал — экстремальном, положении. На работе от них шарахаются, как от маньяков, любителей «клубнички», дома, как правило, развал семьи. Эти люди получили тяжелейшую психологическую травму.

— У вас в этом грустном перечне вместе со словом «порнография» прозвучало и слово «насилие». Насколько я знаю, существует еще одна статья, 228-прим, УК РСФСР, которая призвана карать в тех же пределах, что и статья 228, но уже за фильмы, пропагандирующие «культ насилия и жестокости». Честно говоря, этого кюльта в кино я совсем не понимаю...

— Должен вас обрадовать: в новую редакцию УК РСФСР формулировка о пропаганде насилия и жестокости средствами кино не войдет. И считаю это очень важным и нужным шагом, ибо при действии этой статьи любой видео-владелец мог оказаться за решеткой практически за любой зарубежный видеофильм. Нам удалось доказать абсурдность подобной постановки вопроса. Ведь, скажем, в мультфильме «Ну, погоди!» каждые десять секунд совершается акт насилия и жестокости. А что уж говорить о таких фильмах, как «Одинокое плавание» или «Пираты XX века»? В зарубежных же фильмах, в силу традиций западного кинематографа, сцены «насилия и жестокости» еще более рельефны, натуралистичны... И хотя большинство из них не являются самоцелью создателей фильма и несут зачатую заряд, направленный на то, чтобы вызвать у зрителей отвращение к самому акту насилия, тем не менее, вырванные из контекста фильма, они представляют угрозу для всех владельцев видеомагнитофонов.

Примерно то же происходит и с эротическими фильмами. Например, тот же злополучный «Девственник», повествующий о первых шагах американских школьников по дорогам любви, ничуть не сильнее в «сексуальном воздействии» (если не слабее), чем «Маленькая Вера» или «Меня зовут Арлекино»... Следуя логике статьи 228 в ее «традиционном» применении, нужно было бы возбудить уголовное дело против создателей этих советских фильмов, а всех зрителей посадить в следственный изолятор до окончания судебного разбирательства.

— Владимир, скажите, а почему даже те владельцы видеомагнитофонов, которым запретный плод горек, все-таки меняются кассетами подпольно, украдкой?

— Думаю, здесь существуют две причины: юридическая и социальная. Последняя заключается в том, что видеомагнитофон до сих пор является символом материального благополучия, граничащего с роскошью. Если есть «видак» — значит, человек ловко устроился либо в «загранку» мотается, либо ворует. Культ видеомагнитофона с рук — надо иметь очень большие деньги, ведь в открытой продаже их нет. Короче, владелец видео вызывает неприязнь у многих. Но, думаю, с течением времени видеомагнитофон станет такой же повседневной вещью, как

и телевизор, радиоприемник, и проблема исчезнет сама собой.

Сложнее дело обстоит с юридическими эксцессами, вызванными несовершенством современного законодательства. Людям свойственны беспечность и святая вера в справедливость правосудия. Не являются исключением и владельцы видеомагнитофонов. Большинство из них лишь понаслышке знают о существовании статьи 228 УК РСФСР. (Кстати, ознакомьтесь с ней даже при желании не так уж просто: Уголовного кодекса в продаже практически не бывает, да и не во всех библиотеках его можно получить.) Так вот, эта статья в редакции Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1982 года гласит: «Изготовление, распространение или рекламирование порнографических сочинений, печатных изданий, изображений или иных предметов порнографического характера, а также торговля или хранение с целью их продажи или распространения — наказываются лишением свободы на срок до трех лет или штрафом до трехсот рублей с конфискацией порнографических предметов и средств их производства». Именно эта статья и служит в руках правосудия карающим мечом, поднят над головами всех видео-владельцев. Именно она стала причиной многих шумных видеопроцессов, суровых приговоров, полуманьяков судеб.

— Статья довольно лаконична... Мне кажется, даже чересчур. В ней, например, не объясняется, что такое порнография, из-за которой и определяются наказания.

— Совершенно верно. Более того, если мы заглянем в комментарий к Уголовному кодексу РСФСР, то найдем там следующее определение порнографии: «Это непристойные издания, цинично изображающие половую жизнь и имеющие своей целью нездоровое возбуждение половых инстинктов». То есть для того, чтобы фильм, содержащий сцены интимных отношений героев, подпал под действие статьи 228, он должен быть непристойным, циничным, возбуждать половые инстинкты. И, наконец, эти инстинкты должны быть нездоровыми.

Опять-таки получается замкнутый круг из нерасшифрованных понятий. Авторитетные советские печатные источники не могут дать на этот счет вразумительного ответа. Как правило, сия щекотливая тема деликатно остается в тени. Поэтому жутко любопытно, является ли, скажем, фильм порнографическим, если он непристойен, но нециничен или циничен, но не возбуждает «половых инстинктов», а если возбуждает, то здоровые?

— Но, видимо, существуют экспертные комиссии, поднапоревшие в определении порнографии?..

— К сожалению, до недавнего времени в запале борьбы с «западной идеологией» и с ее «носителями» в лице владельцев видеомагнитофонов именно эти, с позволения сказать, комиссии поналомали дров. Сама ситуация в стране в недалеком прошлом как нельзя лучше соответствовала лихим решениям судов: видео — порождение Запада и, значит, по самой своей сути несет западную идеологию в дома наших неискушенных граждан. Примерно так рассуждали облеченные властью чиновники. Ведь точно так же боролись в свое время с рок-музыкой, авангардной живописью... Положению усугублялось еще и тем, что в комиссии экспертов входили не очень-то компетентные в вопросах искусства люди: юристы, лингвисты, урологи, представители правоохранительных органов, ветераны партии и даже ветеринары. А вот специалистов, то есть искусствоведов, кинематографов, которые могли бы квалифицированно оценить тот или иной фильм, в комиссиях явно не хватало. Это и по-

СМЕНА

«Клубничка»

В оформлении использованы материалы из журнала «Лиф».

родило в последние годы целый шквал видеододел.

— Мы сейчас говорим о фильмах эротических, по ошибке или неграмотности попавших под шапку «порнографии»... Но ведь существует же на кассетах откровенная «порнуха»! Так где же проходит рубикон между порнопродукцией и эротикой? Вы, как председатель комиссии экспертов, наверняка имеете большой опыт подобного рода работы.

— Я участвовал в более чем шестидесяти экспертизах по постановлению следственных органов и Прокуратуры Союза ССР. Мы используем три основных метода: первый — попадание под дефиницию, то есть определение экспертного материала по тематическим и жанровым критериям (порнография, эротика и т. д.). Второй — экспертной оценки. Этот метод в искусствоведении заключается в определении степени и качества эстетического воздействия материала. И, наконец, третий — атрибуции и аналогии с уже классифицированным материалом. Он включает описание и поиск места материала в ряду уже классифицированных объектов (картин, фильмов и т. п.).

Основными признаками порнографического фильма являются:

1. Анонимность создателей фильма, отсутствие списка действующих лиц, исполнителей.

2. Автоатрибуция — отнесение фильма его создателями, прокатчиками, киноритикой и специальной искусствоведческой литературой к классу «Х» (порнопродукция).

3. Самоцельность показа сексуальных сцен вне какой-либо художественной задачи, то есть отсутствие концепции фильма и художественных принципов его построения, сюжета, интриги, контекста, дистанции; основное экранное время уделено показу в натуралистической форме физиологии совокупления; однозначность интерпретации изображаемых сцен; чисто условная связь отдельных сцен и эпизодов; персонажи — лишь символы пола, не несущие идеи и не имеющие характеров, которые заменены темпераментами; детализированная разработка и преимущественное использование крупного плана и направленного освещения при показе сцен полового акта, детализация изображения; демонстрация эрекции, оргазма и других физиологических состояний.

Вот по совокупности этих признаков и определяется отличие порнографии от эротики.

— Но означает ли это, что любого видеовладельца, который каким-то образом попал в зону внимания правоохранительных органов и у которого обнаружена кассета с порнофильмами, нужно непременно передавать в руки Фемиды? Ведь, насколько я понял, статья 228 предусматривает наказание лишь в случае «хранения с целью распространения». Как это понимать?

— Очень просто. Например, если у вас десять видеокассет с одним и тем же фильмом, то вывод напрашивается сам собой.

— Ну, а если человек, у которого обнаружена порнокассета, говорит, что ему эти фильмы, скажем, в силу его физических и психических особенностей, помогают выполнять супружеские обязанности?

— Что ж, подобная версия не отрицается врачами-сексопатологами. Некоторые из них даже рекомендуют использовать порнографию для лечения гомосексуализма, импотенции.

Но любопытно другое: например, демонстрация порнофильмов жене считается распространением порнографии. И были в нашей практике случаи, когда жена, повздорив с мужем, писала в компетентные органы... жалобу на то, что супруг при помощи видеокассет и магнитофона развращает ее и тещу. Супруг после этого отправлялся в места не столь отдаленные.

— Как вы считаете, насколько пагубно влияние таких фильмов на

психику советских граждан?

— Я убежден, что в каждом случае нужна дифференциация зрителей. Один и тот же фильм отразится по-разному, например, на психике искусствоведа и домохозяйки. В каждом конкретном случае нужен свой конкретный подход... Хотя в целом мне неприятен тот тон, каким написаны многие статьи о видеопродукции. Мол, от лукавого все это, ату ее! Упаси боже хоть глазком взглянуть! Почему такое недоверие к советским людям? Почему мы не хотим верить в их идеологическую и моральную стойкость?!

И особо удивительно, есть группы людей, которые априори считаются не подверженными тлетворному влиянию той же порнографии: таможенники, эксперты, работники правоохранительных органов, дипломаты, журналисты-международники и т. д., то есть люди, которые по роду своей деятельности смотрят или могут смотреть фильмы с «клубничкой»? Одним словом, закон вроде бы есть, но не для всех. Нонсенс какой-то!

С другой стороны, статистика показывает, что каждый владелец видеомангитона видел, волею судеб, три-четыре порнографических фильма. И если учесть, что сейчас в индивидуальном пользовании находятся от одного до двух миллионов видеомангитонов, то невольно напрашивается вопрос: неужели все эти люди стали сексуальными маньяками или извращенцами?! Другое дело, когда видео используют для наживы на порнографии, для растления малолетних и т. д. В этом случае карать нужно беспощадно! Но в других — я за дифференциацию и гуманизм. Мы уже с лихвой хлебнули последствий политики тупого «запретительства».

Однако пресса время от времени громыхает «обличительными» статьями: вот, мол, есть сведения, что там-то и там-то собираются и смотрят «порнуху», поэтому нужно усилить контроль и «соблюдение» социалистической законности. Плюс ко всему распространяются средствами массовой информации и слухи о каких-то фантастических штрафах, которые якобы вынуждено платить государство за показ «незаконных» фильмов в кооперативах, молодежных центрах и т. д. Наша группа специально справлялась в ВААП и получила информацию о том, что никаких претензий со стороны западных фирм никогда не поступало.

— Я, помнится, тоже слышал или даже видел по телевизору нечто подобное. Где же источник этих «санкционированных» слухов?

— Дело, видимо, в том, что эти слухи выгодны государственным организациям, потому что сейчас огромный кусок видеопирог отобран различными кооперативы, центры досуга, комсомол. Эти организации знакомят зрителей с зарубежным кинематографом, преимущественно с его лучшими произведениями... И, естественно, ничего плохого в этом нет, потому что наш кинопрокат пока еще не справляется с поставленной перед ним задачей. Наши кинолюбители до сих пор находятся по отношению к всемирному кинопроезду в положении Золушки. Так пусть хоть общественные организации этим занимаются!

Тем более что ВААП уже осуществляет прием и отчисление авторских процентов, и поэтому юридических оснований для исков и штрафов со стороны фирм — производителей фильмов — не имеется и иметаться не может, но миф запущен и продолжает витать

над головами обремененных властью чиновников.

— А что же делают в этой ситуации государственные организации?

— Единственная государственная организация, призванная заниматься видео, — ВПТО «Видеофильм» — за все время своего существования практически ничего не сделала. И сделать по каким-то причинам, видимо, внутренне-го характера не может. Поэтому это объединение всеми силами стремится не улучшить свою работу, а помешать и воспретить работу других конкурирующих организаций. Причем делается это самыми различными способами, включая хорошо отработанные в эпоху застоя...

— То есть?

— Например, используются демагогические постулаты об идеологической «интервенции», которую ведут западные кинофирмы, о пагубности «неконтролируемых» (видимо, объединением «Видеофильм») просмотров, о беспорядочности и пагубности видеопродукции и т. д. И, к сожалению, ВПТО в этой борьбе преуспело.

— Вы имеете в виду постановление Совета Министров от 29 декабря 1988 года «О регулировании отдельных видов деятельности кооперативов в соответствии с Законом СССР «О кооперации»?

— Именно его. Этим постановлением перекрыли кислород всем кооперативам, занимающимся видео. Это очень сильный удар по нашей еще не окрепшей видеокультуре. Если и дальше так пойдет, то настанет очередь и центров досуга, и комсомольских видеоклубов, хозрасчетных студий.

Я (да и не только я, если судить по выступлениям прессы) отношусь к этому постановлению крайне отрицательно и не сомневаюсь в том, что в конечном итоге его отменят из-за вопиющей абсурдности. Но понять его появление могу, поскольку в наше беспокойное время уже были аналогичные по своему духу прецеденты: вспомните Указ о прогрессивном налоге на кооперативы, который был отменен.

— Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы изменить создающуюся ситуацию?

— Нужна здоровая конкуренция и, так сказать, мирное сосуществование различных видеобъединений. Кооперативы очень быстро и разнообразно начали насыщать видеосинформацией наш рынок... Последнее постановление неминуемо подтолкнет видеолюбителей назад, а подвалы. Опять будут «частные» просмотры по 5 рз с носа, опять будет процветать «черный рынок»... Снова будет ощущаться голод в отношении классики мирового кино. Все это идет вразрез с общей политикой гласности и демократизации. Поэтому нужно, чтобы фильмы либо закупились государством, либо чтобы их показ на видео не запрещали. Причем многие общественные организации готовы выплачивать авторам фильмов гонорары! В последнем случае процесс просмотра можно контролировать, определять репертуар.

Нужно развивать все формы видеокультуры, только тогда станет возможно насыщение внутреннего рынка продукцией, эффективная борьба с «видеомафией» и т. д. Кстати, и на юридическом статусе видео это неминуемо отразится лучшим образом.

— Но пока, как я понял, законодательство несовершенно, и каждый человек, имеющий видеомангитон, в той или иной степени подвержен опасности. Отсюда вопрос: вы уже давно занимаетесь видео, а есть ли у вас самого видеомангитон?

— Нет. В силу своих служебных обязанностей я смотрю достаточно фильмов на работе. Но в общем-то индивидуальное видео сегодня — это мина замедленного действия, которая в любой момент может взорваться у вас дома... И если не из-за эротики, то, скажем, из-за фильмов ужасов. Ведь статья 228-прим еще действует... Впрочем, это тема для следующего разговора.



Сергей МИКУЛИК

И ЭТОТ ВЫПАДИ ИЗ ПНЕЗДА?

В истории большого спорта, по крайней мере отечественного, найдется не так много случаев, чтобы действующий спортсмен «заговорил». Как-то не принято у нас это было — откровенно о наблевшем. О победах, поражениях, травмах — пожалуйста, но о том, что такое собственно Большой Спорт, — давайте не будем. Мы с вами знаем, а остальным — зачем? Идет болельщик на стадион, смотрит, как играют две команды. Составы ему даны, турнирное положение известно, а все остальное — сплетни. Какое ему дело до деталей. Детали не важны, а результат все слышит. А не будет результата, так спишет тех, кто его не дал. И наберут новых. Название-то команд остается — чего волноваться?

И если кто и был не прочь высказаться, то как раз списанные, считавшие себя несправедливо обиженными. Но их мало кто до конца выслушивал — большой спорт стремителен, и откровения «бывших» всегда опаздывали. Да и симпатии эти люди, как всякие неудачники, вызывали мало.

И вдруг заговорил кумир. Действующий. В самом-самом фаворе. Человек, у которого все хорошо и никакие перспективы к ухудшению не намечаются. С которым по популярности очень немногие могут сравниться. Благополучный, словом, во всем.

Решил поделиться с нами впечатлениями закулисной жизни хоккея? Захотелось острых ощущений при однообразии успехов? Весь в золоте, а забыл, что оно — молчание? И не таким напоминали.

В карьере Игоря Ларионова был момент, когда, казалось бы, и пришло время для откровений. Год невыезда из страны со смешными ссылками на болезни, начало которых точь-в-точь совпадало с отъездами ЦСКА и сборной за рубеж. Ссылались на них тренеры и функционеры — сам он молчал. И вдруг, когда все улеглось-уладилось

и бльем успело порости, заговорил. Зачем?

— Однозначно здесь не ответишь. Я долго, слишком долго жил по общепринятым правилам. Как в трамваях у нас написано — не высываться. Опустить голову, не задирайся, и все у тебя будет. Твое дело — игра. Но играть-то я привык с поднятой головой. Когда-то все общество, по-моему, так жило: серая усредненная масса, где таланты считались выскочками. Сейчас в обществе происходит переоценка ценностей. У нас же в спорте ничего, увя, не меняется. Как человек ты мало кого интересуешь. Этакий не принадлежащий себе игровой робот — включили на три периода — выключили. Как красный свет за воротами. И если ты стремишься вырваться из невыносимо тесных рамок, сделать жизненное пространство шире ледового катка, тебе же хуже — высунулся. Ату его! Назад!.. По молодости удивляешься такому обращению, но терпишь — не тобой заведено, не тебе вроде бы и менять. К зрелости невтерпеж становится, но ты к тому времени уже кровно связан с «системой» — получил от нее какие-то блага и в перспективе еще получишь — снова сжимаешь зубы. Ну, а к старости и вовсе не стоит рот раскрывать — объявят разлагателем коллектива и отправят на пенсию с соответствующей репутацией. Вот так.

— А играть с такой репутацией — много ли веселее?

— Мне, «бросившему тень на весь наш хоккей»? Иногда и вправду бывает весело. К примеру, в прошлом ноябре в Свердловске я неудачно попал коньком в трещину в углу площадки и сломал ногу. И сразу пошли слухи: это руководство с Ларионовым за критику рассчиталось. Загнали в угол, покалечили, чуть не убили. Как тут не улыбнуться? Хотя, конечно, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. У нас заговорил, значит, восстал.

— Против установки «вся наша жизнь — игра»?

— Против убийства в человеке любви к игре — делу, которому он действительно посвящает значительную и лучшую часть своей жизни. Я заговорил в полный голос, когда почувствовал, что пройдет еще немного времени, и я начну ненавидеть хоккей. Это я-то, уже в зрелом возрасте каждый день из Воскресенска в Москву на изматывающие тренировки мотавшийся. Я, для которого любое детское воспоминание со льдом и клюшкой связано. Я, боготворивший игру, и ни разу в жизни ни на один компромисс, хоть на йоту способный ей повредить, не пошедший. И раз такая мысль могла во мне шевельнуться, значит, со мной и миром, в котором я врацуюсь, «все не так, как надо».

— После победного олимпийского сезона такое мнение действительно идет несколько вразрез с общепринятыми у нас оценочными критериями...

— Я очень многое вынес ради этой Олимпиады. Я поставил ее себе рубежом, до которого во что бы то ни стало надо дойти и с достижением которого что-то в моей жизни должно измениться. Непременно должно, так мечталось и думалось. Человеческой природе вообще свойственно, наверное, надеяться на лучшее, а здесь я словно зажег для себя какой-то свет в конце тоннеля. Но мы выиграли в Калгари, и ничего-то в нашей жизни не изменилось. Тебя, двукратного олимпийского чемпиона, все так же принимают за робота, бездушного и исполнительного, изгоняя и вытравливая из тебя все человеческое. Да и наивно было надеяться на что-то другое...

«Неблагодарный он, этот Ларионов, — сказал мне как-то один из коллег, много лет пишущий о хоккее. — В него в ЦСКА и сборной поверили, таких партнеров ему подыскали! Заиграл с ними — и все парню сделали. Две машины, квартиру, родителей помогли в Москву из Воскресенска переселить. А он, все это получив, бросил людей, всю жизнь ему помогавших, обличать.



Фото Юрия СОКОВО

Они, видите ли, хоккей гроят. Да посмотрел бы я на него на их месте, когда «сверху» все время побед требуют!»

— А надеялся я всего-навсего на жизнь, хоть чем-то напоминающую нормальную, человеческую. Знаете, например, почему мы все время на сборах в полной изоляции от родных и близких живем? Не потому, что это как-то научно обосновано и помогает добиваться больших спортивных достижений, нет. «Мы арендуем для вас базу ежегодно на 300 дней, — разъясняли однажды мне, непонятливому, тренеры. — Сроки эти для нашей команды традиционные, так что будьте добры оправдывать народные деньги. Самодеятельность, товарищ Ларионов, еще ни разу ни к чему хорошему не приводила». (Вообще-то я в двух командах играю — ЦСКА и сборной, но поскольку тренер у них один и методы подготовки мало чем отличаются, мне иногда кажется, что в одной.) Верно, уж что-то, а инициатива в армии сроду не поощрялась. Удобно командовать людьми, одинаковыми, словно батоны с хлебозавода. Любое слово — уже не совет или напутствие, а приказ, за невыполнение которого с радостью спросят по всей строгости. Есть, впрочем, люди, которых такое положение дел устраивает, и даже очень. С одним из них я, помню, ждал своей очереди в приемной высокого армейского начальства. Так он извелся весь в бездеятельности и ожидании. «Сейчас бы, — говорит, — приказ побыстрее получить, вот тогда бы я действовать начал. Сказали бы только, что делать нужно». Я не осуждаю его и не иронизирую — каждому, как известно, свое. Но уж больно мы на оловянных солдатиков похожими становимся, причем некоторые, с годами, на одноногих. Это наше единственное различие. В остальном — одинаковые.

Есть в спорте такая расхожая поговорка: «Победителей не судят». Посторонние не лезьте, а промеж себя они сами разберутся. Поделят, так сказать, лавры. Победителями можно только восхищаться на расстоянии. В душу им лезть тоже не рекомендовалось — сказали уже все на поле или площадке. И все было замечательно в нашем сверхблагополучном хоккее.

Выпадали, правда, временами из обоймы некоторые люди. Так результат же, за редким исключением, давался. Что вам еще нужно? Подумаешь, оттор-

гла система кого-то, к большим жертвам неспособно. Зато остальные еще теснее сплотились. Где вы, скажите, встречали еще такой дружный коллектив?

— Это, по-моему, противоестественно, когда три десятка молодых парней по двадцать четыре часа в сутки проводят вместе. Да еще так бездарно. На базе ведь, как ни крути, от хоккея уйти не удастся. И все наши разговоры при просмотре видеофильмов и при игре в нарды вокруг него крутятся. Лишнее это, честное слово. Игра и так от себя не отпускает, но когда, кроме шайбы, клюшек и одних и тех же лиц, ничего вокруг себя не видишь, поневоле тупеешь. У тебя дома годовалый ребенок с температурой мечется, а ты, здоровый мужик, сидишь как пень вдесяти километрах от него, ничем не занятый, и тоже, как и малыш, плачешь. От сознания собственного бессилия. У тебя через три дня важная игра. С «Трактором» или с «Автомобилистом». И неважно, что состояние твое близко к стрессовому, — ты же на сборе, перед глазами. А ребенок — чем ты ему можешь помочь? Ты же хоккеист, а не доктор. Такие вот задушевные беседы ведем. «Во имя обеспечения высокого результата». Однажды тренеры нам преподавателя по английскому языку пригласили: кому-то стыдно стало, что за границей больше трех слов не можем сказать. Мы загорелись все, тетрадки в клеточку завели. Провели ровно одно занятие. А через день — надо же такому случиться — календарную игру проиграли. И больше того учителя к нашей базе близко не подпускали...

— Но даже не это, наверное, самое тяжкое в практике сборов...

— Унизительно уже сознание того, что тебе не верят, ощущение, что ты — потенциальный лжец и предатель. Ну почему, скажите, почему я после игры, если меня — даже не верится! — с базы отпустят, непременно в разгул должен удариться? Я что, не доказал за восемь лет пребывания в сильнейшем клубе страны и сборной свою преданность хоккею? Ко мне у кого-нибудь были когда-либо претензии по части соблюдения спортивного режима? Так почему же я должен ловить на себе косой тренерский взгляд всякий раз после того, как нечаянно оступлюсь на тренировке, когда приехал на нее из дома? Тот, кто хочет напиться, сумеет сделать это и на базе, но под подозрение попадаю я, отпущенный. Сам себе противен становишься. Игрок у нас бесправен совершенно. Унизить, оскорбить, отчислить — с ним совершенно безболезненно и безнаказанно могут сделать все, что угодно. Мы столько лет читали и слышали, что все это — прелести как раз «тамошнего», профессионального спорта, а никак не нашего, «любительского». И, бывая за океаном, я не раз порывался почтить контракт профессионального игрока не понаслышке, а самому узнать, какими же он реальными правами, кроме обязанности получать зарплату, в сотни раз превышающую нашу, обладает. Но намерения мои намерениями и остались — контракта я так и не увидел. Зато «несанкционированное общение» с иностранными гражданами поимел и ровно год после него следил за зарубежными выступлениями сборной по газетам и телевизору. За границей полагалось выглядывать угрюмым, ушедшим в себя, неразговорчивым человеком, у которого «все есть». И ни с кем самостийно не общаться, особенно с владеющими русским языком, так как эти-то наверняка все шпионы. Так по крайней мере было еще три года назад. Кому-то взбрело в поистине болную голову, что я хочу уехать из страны. Точнее, сбегать. Вот и не выпускали меня за границу, чтобы лишиться таинственной мысли о смене гражданства. Тем паче я тогда холост был, — как пить дать сбегаю. Прямо с аэродрома двину к своим друзьям-

шпионам. А вы говорите, играть невесело бывает. Да прямо обхочешься, если только все это не с тобой происходит.

— А если все-таки не сбегая, интересно было бы какое-то время поиграть среди профессионалов?

— Хотите вновь расстроить мои выездные дела? Конечно, интересно. Ведь открывать для себя что-то новое — всегда любопытно. Чужая страна, чужие люди, игра другая — испытание на испытании. Проверить, как там со сборами, узнать — перед поездкой из Бостона, к примеру, в Монреаль игроков так же держат в страхе быть «оцепленными» — как-никак, за границу лететь, по нашим понятиям, за такой выезд все должны убиваться. Посмотреть, словом, может быть, в хоккей играют как-то иначе? И готовятся к матчам, и выигрывают их.

Я не стал дальше развивать эту тему, чтобы не добавит своему собеседнику еще больших неприятностей, ведь в этом вопросе применительно к спортсменам много у нас перевернуто с ног на голову. По идее, работать за границу всегда посылали лучших специалистов, которые своим трудом «там» поднимали престиж своей родины. Так? Тогда почему же, если квалифицированный рабочий, врач или водитель грузовика стремится попасть за границу, никто в этом его желании никакого криминала не усматривает? А если спортсмен посмотрел в сторону зарубежья? Рвач, хапуга и космополит. Заелся настолько, что в Союзе барыши свои баснословные уже не желает срывать. Заграницу ему подавай! Тот же Ларионов — он же ведь офицер. Пусть лучше где-нибудь на Камчатке послужит — вот тебе и граница. Что, не нравится?!

— Я, например, не слышал, чтобы у профессионалов тренер опуссался до оскорбления игроков. Не думаю, что ему меньше хочется победить. Но грань соблюдения человеческого достоинства — своего и чужого — у них переходит не принято. А мы, чтобы нас до хоккея допускали, готовы с собой все, что угодно, позволяли делать. И наносим тем самым вред и себе, и игре. Видим, что хоккей наш потихонечку разваливается, но молчим. Ведь мудрую систему поддержания к игре постоянного интереса придумали те же профессионалы — когда сильнейшего в стране юниора берет себе слабейший клуб. Там не создают суперкоманд, утомляющих соперников и зрителей набором «звезд» и постоянными победами. Потому там и не бывает пустых трибун, при которых мы, например, в Москве в последнее время только и играем. А как, скажите, зрителей заманить, если тот же самый «Автомобилист» или полностью нами же растащенный «Трактор» приезжает в столицу против ЦСКА номер отбивать. Что им у нас не выиграть, это ясно, так зачем же «ломаться» в полную силу? Не 0:10, так 2:6 получись, какая разница, все одно — поражение. А нам какво при счете 5:0 после первого периода на лед выходить — интересно? Болельщика ведь не обманешь, он на «поддавки» смотреть не пойдет.

— Ну, не пошли бы в свое время из «Химика» в ЦСКА Ларионов с Каменским — глядишь, и была бы в нашем хоккее еще одна сильная команда...

— Вы в армии служили? Очень вас спрашивали, где вы «воевать» хотите? Я играл у себя в Воскресенске в хоккей и мечтал играть в сборной. И когда меня пригласили на подготовительный сбор к мировому первенству в 1981 году, был по-настоящему счастлив. Все бы отдал, чтобы в команде закрепиться. Увидев такое рвение, со мной побеседовали и сказали, что «всего» не надо. А надо съездить в Воскресенск, привезти потихоньку приписное свидетельство и отдать его с рук на руки одному человеку. И тогда в Стокгольм,

на «мир», я поеду как бы от «Химика», но на самом деле, когда я там буду спать, здесь, в Москве, служба будет идти. «Правда, здорово?» — спросили меня. Но я, как ни грел о сборной, с обмана все же свою карьеру в ней начинать не хотел. И прокатился в итоге мимо Стокгольма. Институт я тогда заканчивал, право на отсрочку от призыва, следовательно, терлось, и я понял, что ЦСКА мне не миновать. Так что в истории с моим переходом никакой романтики. Я очень благодарен Виктору Васильевичу Тихонову за идею и работу по созданию нашего звена, ныне первой пятерки советского хоккея, но сам принцип такой, с позволения сказать, армейской селекции на корню его же, наш хоккей, и обескровливает. И интерес к нему неуклонно и стремительно падает. Правда, кое-кто склонен полагать, что только в избалованной зрелищами столице. На периферии, дескать, народ ходит. Но там-то как раз от отсутствия выбора! Куда, простите, пойти зимним вечером человеку в Свердловске или Челябинске; скажете, глаза разбегаются? Да и что это за цифры для миллионного города — 3—4 тысячи человек? Если уж такую жалкую вместимость не обеспечивать, то высшую лигу впрору будет попросту распустили. Согласны?

— И набрать новую, без армейских команд?

— Так было бы, по крайней мере, справедливее, чем теперь. Нельзя завлекать человека армейскими льготами, пополняя тем самым Вооруженные Силы случайными людьми. Ну какой, скажите, из меня офицер? А перед вами, между прочим, капитан Советской Армии. Да-да, по званию ротой запросто могу командовать. Форму при всем этом я, правда, надевал в своей жизни не больше десяти раз, но дома в шкафу она на всякий случай висит. Могу, наверное, и до майора доиграться, особенно если побольше молчать буду: у нас такая манера поведения, как вы уже знаете, весьма одобряется. Но какой от меня толк как от действующего офицера, если я и солдатом-то настоящим никогда не был, а всю жизнь в хоккей проиграл да на сборах просидел! Кому мы очки втираем и как долго еще будем этим продолжать заниматься? Единственно, что, наверное, справедливо — армейская служба дает пенсионные льготы. И для спортсмена, чья социальная защищенность по окончании активных выступлений на сегодня еще никак не определена, это, бесспорно, очень важно, то есть я считаю, что игрок своей многолетней безупречной службой отечественному спорту эту пенсию заслуживает. Но делать из нас воинов-спортсменов все-таки не надо. А вот кто мы есть, по десятку лет прожить исключительно друг с другом, я и сказать не могу. Жизни научиться времени не было. Так, какие-то полуинфантильные полувоееннослужащие. Некоторые конца карьеры ждут, чуть не сами его приближая, как начала вольной жизни. Будешь так думать после столько лет запретов на все и вся! И вот вырывается такой аскет поневоле за ворота, к окружающей его действительности абсолютно не приспособленный, и... Сколько вокруг загубленных судеб! Не всем суждено тренерами стать, а что мы знаем-то еще, кроме своего хоккея? Правда, теми методами, что с нами столько лет обращались, мы для прохождения дальнейшей службы вполне овладели: младших по званию надо держать в постоянной зависимости от себя и в страхе, почаще напоминая им, кто они есть и кому всем обязаны. «Душить» всякую неординарность и тем более инициативу снизу. А если не получается, то хотя бы делать вид, что эта инициатива твоя. У нас на поле игровые обязанности для каждого четко и строго расписаны — не дай бог за отведенные тебе границы, увлекись, выскочи. Но когда-таки выскакиваешь и получаешь удачно — гол, к примеру, рождается, тренер делает вид, что так и задумано было. Им. Зато если попросил что-то новое, примерился, а результата мгновенного не дал, жди разноса. Много

интересного рискуешь о себе услышать. А в каких выражениях! Я когда впервые в сборную попал, был просто шокирован той атмосферой унижения и оскорбления игроков, которых сам боготворил. «Не удивляйся, у нас всегда так, — заметив мое изумление, похлопали на первых днях меня по плечу ветераны. — Поиграешь с нами, еще не такое услышишь». Все верно — и поиграл, и услышал, и роман Достоевского несколько раз перечитал, помогало. Но теперь чувствую, что нарыв, как ни пытался прятать его от себя и окружающих, созрел. Когда в человеке его же самого столько лет ежедневно убивают, как тут человеком остаться? Ведь рабов за людей не считают.

— А если снять эти оковы, то бишь погонь?

— Все, что может сделать человек в моем положении, это подать рапорт — на увольнение или изменение места службы. А как, кто, когда и при чем давлении будет его рассматривать и не кончится ли все в итоге отлучением от хоккея, не поручусь.

— Хоккей армейский, динамовский, профсоюзный... Когда же будет один — профессиональный?

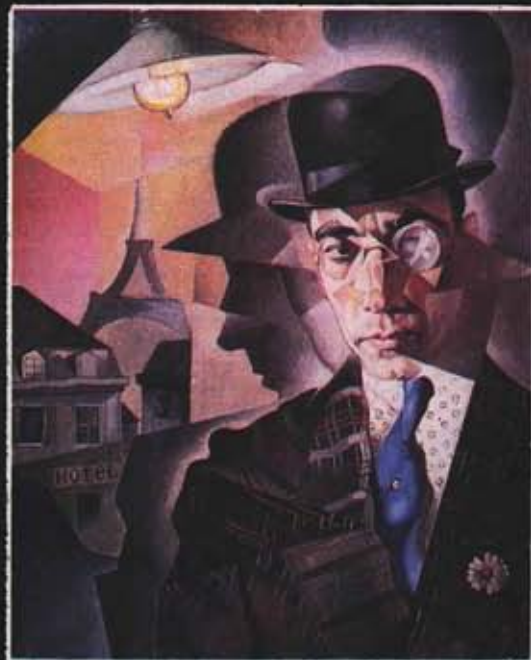
— Для этого нужно, чтобы в стране были не только умелые игроки, но и грамотные функционеры. А то ведь если завтра нам, подобно футболистам, предложат перейти на хозрасчет, мы же попросту обанкротимся. Доход-то команде идет от зрителей, которых нет. Может создаться вообще фантастическая ситуация, когда аренда льда будет стоить дороже сбора от матча! Такие вот у нас перспективы.

Конечно, точка зрения лучшего центрфорварда более чем субъективна, но право на нее он, безусловно, заслужил. Все шире входящее в наш обиход диковинное прежде слово «плюрализм» ведь и предполагает обнародование различных мнений. А в спорте у нас и по сей день господствует, как правило, одно — человек, которому «сверху видно все». Снизу же смотреть и думать не рекомендуется — там живут исполнители «монаршей» воли. Живут по придуманным для них законам, которые по сути есть беззакония. Не во всех, понятно, командах такое творится, но ведь и коллектив армейских хоккеистов нам всегда представлял эталоном во всех отношениях. Или Ларионов все же сгущает краски, и экипаж флагмана гребет в одну сторону не за страх, а за идею? Как знать, на какие компромиссы не пойдешь со своей совестью, когда за бортом — открытое бушующее жизненное море и ты знаешь не знаешь, куда вынесет тебя стремительный водоворот событий. И когда вынесет. Ведь у нас в стране система долгосрочных контрактов спортсменов с клубами, принятая во всем мире, до сих пор не практикуется. И правовых гарантий у игроков, стало быть, никаких. В том числе и у армейцев. За строптивость запросто можно попасть куда-нибудь в район Крайнего Севера «для дальнейшего прохождения службы». Так что не стоит загадывать на годы вперед, если не знаешь, где можешь оказаться завтра.

Понятно, что один за всех не ответчик. Но не надейтесь, что многие из этих всех вдруг разговорятся. Жизнь почему-то сплошь и рядом подкидывает обратные примеры. Последний из них — три десятка футболистов московского «Спартака», уставившихся глазами в пол. Идет первое после отпуска собрание команды перед сезоном 1989 года. Игрокам только что объявили, что Константин Бесков их больше тренировать не будет. И директор клуба интересуется, какие на сей счет есть мнения. А мнение одно — молчание. Упорное и равнодушное. Скажете против Бескова, а он, глядишь, еще вернется, такая глыба, если захочет, просто так себя свалить не даст. В защиту — так его же вроде как сняли. Нет его, понимаете, а значит, и не было. Молчали при нем и теперь в «окопах» отсидимся. Любого, кто бы в душу лезть ни пытался, перемолчим.

Или бесправие — не трусость?

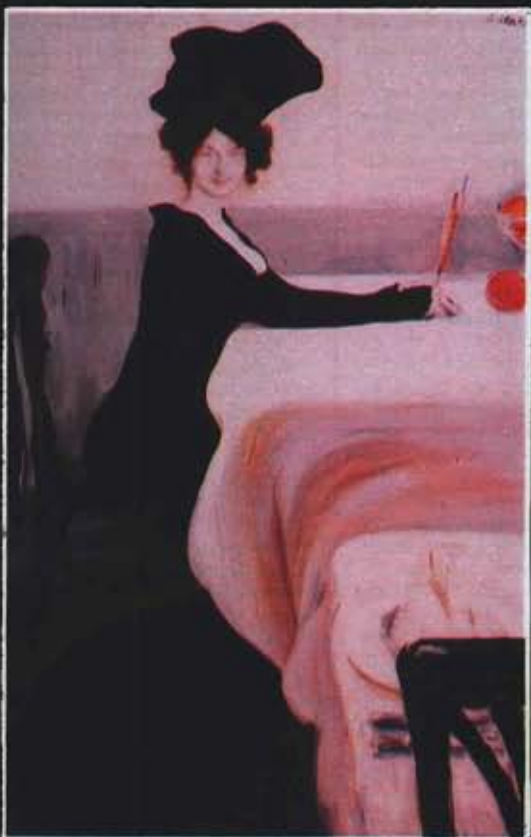
ЖИВОПИСЬ XXX ВЕК



1



2



3



4



5



6

Какое место в нашей жизни занимает сегодня изобразительное искусство?

Вряд ли найдется человек, рискнувший бы исчерпывающе ответить на этот вопрос. Хотя бы потому, что включает он в себя множество других, которые нужно будет поставить прежде. Почему посещение картинных галерей превращается порой в туристическую обязанность, а художественные выставки пустеют после вернисажа? Виноваты ли тут искусство, или публика, которой оно предназначено? Почему, наконец, человек вполне способен отличить живые цветы от бумажных, но оказывается в затруднении, когда имеет дело с производением искусства или его подделкой, и, умиляясь рыночными ковриками «с лебедями», проходит мимо шедевра, «чувств никаких не изведав»?.. «О вкусах не спорят» — в данном случае не ответ, а причины нужно искать в чем-то ином.

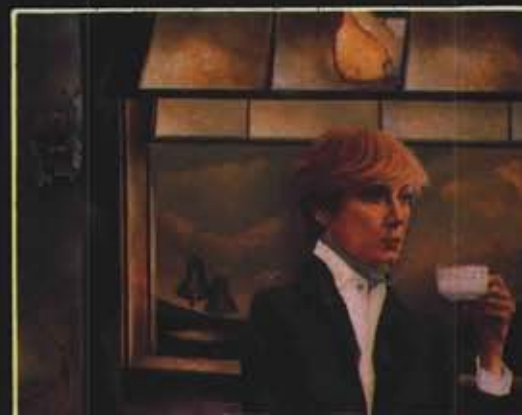
Никто не станет утверждать, что на протяжении своей истории живопись совершенствовалась и с течением веков достигала новых высот, ибо превзойти Леонардо да Винчи или Андрея Рублева никому из последующих мастеров, прямо скажем, не удалось. Прогресс в искусстве идет совсем иными путями, нежели в технике или экономике: у него свои законы. С другой стороны, за тыся-



7



8



9



10



11



12

четлетия живопись создала внутри себя множество самых разнообразных направлений — от примитива и натурализма до чистой абстракции, достигнув в этом смысле апогея к исходу нынешнего столетия. Но если цели изобразительного искусства оставались прежними, то язык, на котором оно говорило со зрителем, стал сегодня настолько многозначным и сложным, что для восприятия нужна уже специальная подготовка. «Утро стрелецкой казни» В. И. Сурикова и «Герника» П. Пикассо — две картины, изображающие трагические события человеческой истории, — требуют разного подхода и, будем откровенны, разной степени зрительской подготовленности. Об этом, как нам кажется, и нужно вести разговор.

Есть, конечно, среди зрителей и те, кто подходит к живописи с позиции, определить которую можно распространенным, увы, тезисом: «Я не понимаю, а следовательно, это — плохо». Но отрицание, согласитесь, не лучший способ познания. — к нему ведут терпимость и уважение к мнениям других. Хочется думать, что большинство наших читателей примет это как условие предстоящего разговора. Со своей стороны, мы решили начать серию материалов о разных жанрах, стилях, направлениях и мастерах живописи, ограничив необъятную тему рамками нашего столетия, наиболее полно выражающего ее многообразие.

Сделать это без вашей помощи, уважаемые читатели, нам не удастся. Чтобы начать и вести разговор, нужно «почувствовать аудиторию». Для этого мы хотели бы получить от вас ответы на те вопросы, которые предлагает наша Анкета.

Впрочем, как видите, с этого номера мы уже начинаем диалог с читателями, предложив вашему вниманию репродукции двенадцати портретов, написанных мастерами XX века самых разных направлений. Пожалуйста, ответьте: какие работы понравились вам больше, какие меньше, что вы принимаете, с чем не согласны и почему. Прежде чем ответить на каждый вопрос, прочтите все варианты предлагаемых ответов. В каждом вопросе подчеркните один вариант ответа.

Мы сознательно опустили названия работ, имена авторов (они будут опубликованы позже), потому что надемся — среди вас найдутся знатоки, которые сами поставят подписи под репродукциями. Подчеркиваем, это отдельное задание. При заполнении анкеты указывать названия работ не обязательно.

Тех, кто правильно назовет наибольшее число представленных в этом номере картин и их авторов, ждут специальные призы «Смены».

В двух последующих номерах «Смены» Анкета будет продолжена: мы предложим вам другие жанры живописи — натюрморт и тематическую картину, также надеясь на ваши ответы. После обработки Анкеты социологами состоится подробный, хочется думать, интересный и, что самое важное, небесполезный разговор о живописи.

Если есть желание более подробно ответить на вопросы анкеты, вы можете прислать их на отдельном листе. Заполненную анкету вырежьте, вложите в конверт и отправьте по адресу: 101 457, ГСП, Москва. Бумажный проезд, 14, редакция журнала «Смена».

Учитываются анкеты, отправленные не позднее 15 мая. Ждем ваших писем.



1) Какие из представленных произведений вам нравятся больше, какие — меньше? Расставьте все работы по номерам в порядке предпочтения от большего к меньшему.

- | | |
|----------|-----------|
| 1. _____ | 7. _____ |
| 2. _____ | 8. _____ |
| 3. _____ | 9. _____ |
| 4. _____ | 10. _____ |
| 5. _____ | 11. _____ |
| 6. _____ | 12. _____ |

2) Объясните причины выбора трех наиболее понравившихся.

3) Назовите имена трех современных художников (советских или зарубежных), чье творчество привлекает вас.

4) Считаете ли вы себя достаточно эстетически подготовленным зрителем? Да. Нет.

5) Когда вы последний раз были в картинной галерее (музее)?

- никогда не был;
- лет десять назад;
- несколько лет назад;
- приблизительно год назад;
- несколько месяцев назад;
- месяц назад или меньше.

6) Согласны ли вы с тем, что в последнее время художники, особенно молодые:

- не получают достаточной профессиональной квалификации;
 - утрачивают чувство красоты;
 - адекватно представляют изменившийся мир;
 - стараются любой ценой не походить на предшественников;
 - наследуют все лучшее, что накоплено искусством;
 - создают новые художественные ценности;
 - не интересуются социальными проблемами.
- Сообщите некоторые сведения о себе, подчеркнув необходимое.

7) Ваш пол?

- мужской
- женский

8) Возраст

- до 16
- 17—20
- 21—25
- 26—30
- 31—35
- 36—60
- 61 и старше.

9) Где вы живете?

- в Москве, Ленинграде;
- в городе с населением свыше 1 млн.;
- в городе с населением от 500 тыс. до 1 млн.;
- в городе с населением от 100 тыс. до 500 тыс.;
- в городе с населением от 10 до 100 тыс.;
- в сельской местности.

10) Мнения художников и искусствоведов о современном искусстве часто расходятся с оценками зрителей. Чем вы это объясняете?

- зрители недостаточно эстетически подготовлены;
- в нашем веке художники утратили необходимый для подлинного искусства реализм, пространственную глубину и четкость очертаний;
- зрители больше интересуются сюжетом произведений, а художники и искусствоведы образным языком;
- искусство во все времена опережало ожидание публики;
- истинное искусство понятно всем;
- зрители большей частью судят по законам классического искусства, а художники постоянно стремятся выдвинуть новые критерии.

Заранее благодарим вас.

Окончание.
Начало на 2-й стр.

что он должен быть находчивым, сообразительным, обязан хорошо учиться, иначе в жизни придется туго. Детей с малолетства приучали к чтению религиозной литературы, изучению Талмуда, а это до 15 томов правовых, религиозно-философских, моральных и бытовых предписаний. Таким образом закладывалась потребность в образовании. Быть религиозным значило быть грамотным.

Что же касается профессиональной ориентации евреев в советское время, этот вопрос требует изучения. Возможно, в какой-то мере повлияло то, что царизм, как известно, запрещал евреям владеть землей, существовала пресловутая «черта оседлости». В основном евреи были среди городской мелкой и средней городской буржуазии. Когда же Советская власть отменила эти ограничения, евреи перебрались в крупные развитые города, в которых раньше им проживать запрещалось — исключение делалось лишь для провизоров и купцов первой гильдии. Как я уже говорил, евреи всегда тянулись к знаниям. В царской России получить им образование было не так-то просто — существовали все те же ограничения, приходилось выезжать за границу. Понятно, что в советское время дети евреев преимущественно пошли в вузы. Кстати, и такая вот любопытная деталь: удельный вес революционеров еврейской национальности был больше, чем удельный вес евреев в составе населения России... А кто знает, что эта национальность имеет 107 Героев Советского Союза? Обычно называют одного-двух. Только во время Великой Отечественной войны фашисты истребили около 2,5 миллиона граждан еврейской национальности... Отклики на упомянутую беседу лишней раз подтверждают, как чувствительна социальная память еврейского населения. Тут, говоря вообще о социальной памяти, масса сложных и практически не изученных явлений.

— Разве не обязанность науки расставить все точки над «i»? Чего же она выжидает, отдает столь острую проблему на откуп людям сомнительных взглядов, которые по-своему интерпретируют события прошлого и настоящего, манипулируют сознанием народов и народностей?

— Вы правы, наука в большом долгу перед обществом. Если же вести речь о социологии, то надо иметь в виду: она становилась и развивалась не в оранжевых условиях. Уже в начале 30-х практически все социологические исследования были свернуты. И лишь после XX съезда, можно сказать, состоялось второе рождение советской социологии. Однако в 60-х годах — свои метаморфозы, крайности, издержки.

Почти два года назад опубликовано постановление ЦК КПСС «О состоянии, задачах социологической науки», оно, к примеру, обязывает Госкомстат расширить информационную базу социологии, но пока особых сдвигов нет. От нас требуют конструктивных и компетентных рекомендаций, а выдать их не так-то просто. Были волнения в Алма-Ате, Якутии, драматические события в Сумгаите, однако необходимая информация до сих пор для нас, ученых, недоступна. Возьмите Карабах. И тут к анализу событий обществоведы не привлекались.

А социологи как раз и должны проводить социологическую экспертизу, оценивать значимость тех или иных социально-политических акций. Увы, сегодня, как и в сталинские и брежневские времена, — явное расхождение между словом и делом: на словах — за научный подход, научное обоснование явлений, а на деле — наука отлучена от нужных материалов! Вот и появляются некомпетентные суждения, волевые и непродуманные решения. Между тем в двадцатых годах тон в работе обществоведов задавали руководители государства, политические деятели не уклонялись от разработки самых гучих теоретических вопросов. Среди них — Ленин, Бухарин, Куйбышев, Рыков, Троцкий...

Мы живем и трудимся в условиях перестройки, нацелены на обновление всех сторон нашей жизни, утверждение новых ценностей, и при этом не худо помнить: при демократизации общества резко возрастает роль общественного мнения. Иначе говоря, демократический способ управления обществом есть управление с помощью выявления и анализа общественного мнения. Но оно должно не только выявляться, но и формироваться — ориентироваться на более высокую ступень сознания людей. Оно во многом и определяет качество власти.

Человеческое общество нигде и никогда не существовало без власти. Но власть — понятие неоднозначное: есть государственная и негосударственная — власть Авторитетов, Традиций, Разума, — переход к которой — наш социальный идеал. Пока без государственной власти нам не обойтись, но, разумеется, она должна служить не для самоутверждения, возвышения какой-то группы людей — нужна Власть Всеобщего Интереса, то есть истинная демократия.

смена '89

Появилась сестра.
— Больно? — спросила она. — Сделать укол? Больно, это, значит, я чувствую, а он уже нет. Сделать укол? Конечно, сделать, если можно и нужно.
— Что там шумело? — спросил я.
— Искусственные легкие.
— Кто?

Она посмотрела мне в глаза и заколебалась. Видно, ей не положено говорить правду, но в моих глазах больше, чем вопрос.

— Молодая женщина. Сейчас увезем.
Я вспомнил ширмочку.

И вдруг во мне вспыхнуло новое, вовсе неожиданное мною, — эгоизм.

Да, да, самый настоящий, вульгарный эгоизм. Я, точно грубый извозчик, начал понукать себя не терпящим послушания голосом.

«Ну-ка, — говорил я себе, — выключи поскорей свое воображение. Рядом с тобой никого нет, ты здесь один. Выключи слух, если хочешь, погрузись в себя, а лучше всего усни, тогда ты быстрее доберешься до утра, там уже день, ничего страшного.

И вообще сосредоточься на себе, ты никому и ничем не в состоянии помочь, ты сам здесь на положении человека, которому помогают, поэтому успокойся».

Я поражался себе.
— Хочу жить! — крикнул кто-то во мне. И повторил громче: — Хочу жить!

Подбежала торопливым шагом мнительность: у меня что-то колет! Даже, кажется, режет! С трудом я перевернулся на бок, не удержался от стога.

Альберт ЛИХАНОВ

РОДОЧЕ

СЛУБ

Элегия

Голый, распятый на жесткой кровати, я потихоньку постанывал, с трудом шевелил свое тело. Снова явилась сестра. Делала укол, предупредила, что у меня скорей всего возникнут проблемы, связанные с мелкой человеческой нуждой, поэтому пусть я не стесняюсь. Кто бы знал, что такие незначительные малости, которые даже заметить трудно в нормальной жизни, столько могут доставить тягостных мук! Кто бы знал, сколько самого первородного счастья доставляет избавление от этих невзгод, ни с чем не сравнимого удовольствия!

Потеряв всякую стыдливость, одолев нестерпимую помощь сестры, усеяв лоб бусинами пота, я свалился в омут предутреннего сна с катетерами во всех мыслимых отверстиях.

Я хотел жить, поощряя в себе эгоиста, я не хотел знать ничего другого...

Но прежде чем провалиться в сон выздоровления, во мне мелькнуло: одумайся, ведь рядом с тобой разорвался снаряд!

Они рвутся, эти снаряды, со свистом, подвывом несутся над головой, и, хотя давно бы пора попривыкнуть к неизбежности их полета, непоправимости их разрывов, нематериальная душа протестует против такой трезвости. Душа может дрогнуть, может спрятаться или бежать, но не может, никак не хочет согласиться с тем, что так оно и должно быть, так будет, всегда будет.

И уйдут из этого мира старики, и все уйдут, даже нынешние дети, и правдой станет фраза из сказки Андерсена — помните? — «а потом они все умерли, умерли, умерли...»

Но почему же рвется и протестует душа? Почему, зная неизбежность конца, мы, по образу жизни мате-

Окончание. Начало в № 5.

ПОМНИТЬ — ЗНАЧИТ ЖИТЬ

риалисты, не хотим с ним смиряться? Неужто же высокая правда в том, чтобы жить как животные, не заглядывая вперед и не оборачиваясь назад? Не отдаст ли фатализм такое жизнелюбие, ведь все-таки человек — гомо сапиенс, существо разумное?

Феликс был моим хорошим знакомцем еще со студенческих пор, потом нас соединила общая работа. От смерти его, совсем молодого, спасал дружеский круг, и мне выпала нелегкая доля: наутро после кончины встретить в аэропорту болгарского врача, который, по слухам, мог спасти нашего друга.

Самолет приземлился вовремя, но было уже поздно, и, погоревав, гость попросил отвезти его в Красную Пахру, к Твардовскому, которому он, по слухам, выкаивал у смерти уже не первый месяц жизни. Так, за порогом одной смерти, я увидел приближение другой.

Александр Трифонович уже не говорил, его знаки громким и преувеличенно бодрим голосом переводила жена, я здесь был только провожатым, не более, болгарский кудесник жданным гостем и спасителем, но меня поразила равная внимательность великого поэта — он долго жал руку ему, а потом так же долго мне, увиденному впервые. Пристально, точно желая знакомства, вглядывался в мое лицо.

Я ушел в другую комнатку, смотрел в окно на осенне нарядный лес, думал о Феликсе. Это был первый снаряд, попавший в окружение моих сверстников. Ухнуло рядом со мной.

Но я не понимал тогда этого.

Нет, не первый. Первым умер Коля. Мы сидели на



Рисунки Александра ЯЦКЕВИЧА

Теплая Бота

чем умирают молодыми, полными сил, любящими, любимыми? Ведь не война!

Война навеки в нас впилась, взрослых и пацанят впилась, точно зазубренный, тяжкий осколок. И если ей нельзя прощать, ею можно хотя бы объяснить, в том числе это — неизбежность смерти.

Но сейчас?

Снаряды рвались рядом, совсем рядом. И чем дальше катится жизнь, тем труднее их разрывы. То ли сил меньше, то ли уже ясно видишь, насколько короче дорога.

Снаряды вьются рядом.

Меня задело осколком. Надо радоваться, что только осколком.

Пришло утро. Наступило Восьмое марта. Меня посмотрели врачи, сменились со смехом и поздравлениями сестры; новые, скинувшись, сбегали за бутылочкой, наверное, это тебе и помогло.

Нарушая всяческую мораль, попирая все правила, действуя эгоистично по отношению даже ко мне, не говоря об остальных, кто лежал в реанимации, ты вбежала на цыпочках в святая святых Первой Градской, больно схватила меня за голову и поцеловала.

Я принялся было запоздало ругаться, но ты уже стояла в дверях. А ведь все должно быть наоборот. Все-таки это Восьмое марта, и это я тебя должен был поцеловать. И цветы от тебя — нет, все перевернулось.

Моей злости хватило ненадолго.

Ты стояла в дверях и подпрыгивала, чтобы мне, лежащему, было виднее твое лицо, и это выглядело очень смешно, будто ты прыгаешь через скакалки.

Я подавал тебе сигналы, чтобы ты уходила, это неприлично, я ведь не один здесь такой, опять же, не дай бог, инфекция.

Но ты не слушала меня — подпрыгивала, стараясь взлететь повыше и подольше остаться в воздухе, чтобы я увидел твое сияющее, искрящееся, дрожащее лицо.

Лицо победительницы.

И я послушно и радостно, будто фотоаппаратом, запечатлевал твое лицо в этих детских прыжках. Я щелкал памятью, не жалея кадров, чтобы потом, когда тебя все-таки прогонят доброжелательные, слегка веселые, сестры, закрыв глаза, неторопливо перебирать мгновенные, похожие друг на друга и все-таки совершенно разные воспоминания твоего лица, отреченного, бесконечно счастливого, румяного, а на голове — белый берет.

Только перебирая дорогие вспышки, я стал медленно понимать, что на этот раз я выкарабкался.

Моя лодка уносила меня по жизни вдаль от бурного переката, и в конце все того же года я получил приглашение приехать домой, в Киров, на дни литературы.

Я как бы двигался второй раз по кругу собственной жизни — все казалось вновинку, вызывало интерес, волновало. Выступив в основном вечером, мы разошлись по бригадам и поехали в городки и села, ближние и далекие, уж кому что выпало. Нашей группе досталось северное направление — ухабистые дороги, местные поезда, которые, как и встарь, ползут по пустынной тупиковой ветке, решительно ничем не подгоняемые, старые тряские вагоны, где лампочки светят вполнакала, и уж не считаешь, остается лишь вести долгие разговоры, потому как спать никакого смысла нет: эти поезда прибывают в пункт назначения непременно посреди ночи, пуще того наутро, когда самый дружеский разговор примолкает и дурманящий сон сбивает головы набок.

По первости, когда решалось, куда мне ехать, я было подумал о том, не выбрать ли поездку поспокойнее да поближе, но так ничего и не предпринял. В желании плыть по течению было какое-то ожидание, будто мне обещали показать такое, чего я не увижу уж никогда, и я с радостью отдался беспешному движению поезда, тряске вагона, большим общим комнатам неуютных домов колхозника, ледяной воде умывальников и неподдельной радости все новых хозяев, которые сменялись по два или по три раза на день, но вот этим, своей искренней радостью и даже, кажется, удивлением оставаясь совершенно одинаковыми.

Было еще одно постоянство в этом долгом, растянутом на несколько суток дне, прерываемом кратким, по необходимости, сном — нескончаемый разговор между нами, то при свидетелях, при наших добрых хозяевах, то поздней ночью, в одной, другой, третьей гостиничной комнате разных, но тоже очень похожих поселков, районных центров, больших сел и маленьких городков. В группе нашей собрались все вятские по рождению, земляки, два ленинградца, поэт и прозаик, я, москвич, двое местных, и что бы мы ни обсуждали, всякий раз разговор возвращался к нашей общей родине, к радостям ее и кручинам.

«О светло светлая и украсно украшена земля Русская!»

Не сказано, не воскликнуто, а выдохнуто — с болью и со сдержанным стоном, потому что по-русски радость испокон веку круто замешена на горе. Вековечная частица русской земли, вятская сторона в сердце, пожалуй, всякого своего дитя, сострадание рождает — скудостью почвы своей, серостью низких небес, валкими, как судьбина, дорогами, неудачливостью своей, обложными дождями в покос ли, в уборку, когда потом да тяжким трудом кое-что вроде и взросло, да в самый нужный час изменяет везение и вязнут на поле комбайны, да что комбайны — трактора! — и в отчаянии тянется заскорузлая,

одной парте в школе, ни разу не виделись после десятого, он стал военным, носил артиллерийские пушечки на петлицах. Потом, дома еще, я пошел в кино и увидел его. Мы обрадовались друг другу и в то же время стеснялись: наверное, школьные годы не казались нам важной темой для разговора, мы только что стали взрослыми и еще всерьез относились к своему положению. Он был с женой, выглядел веселым и здоровым.

Мне сказали, он облучился.

Когда уходил, боли мучили неодолимыми. Но он не издал ни звука. В последнюю минуту позвал детей — их было двое, поцеловал, обнял жену, отправил всех из комнаты.

Умер один, тихо.

Потом был Володя. Славный, добрый парень.

С ним мы простились. Я пришел, кажется, за три дня, болтали о том о сем, он предложил мне рюмку, я согласился, две его дочки, две маленькие тонконожки принесли поднос с бутылкой, закуски — жены не было дома, и я налил себе.

— Подожди-ка, — остановил Володя и объяснил мне, как пройти на кухню и отыскать рюмку для него.

Мы хлопнули за здоровье, конечно, за то, чтобы все хорошо закончилось, за то, чтобы были счастливы наши милые, и за детей, конечно, за всех отдельно.

Ни он и ни я не пьянели и всякую рюмку пили до дна. Потом обнялись.

И с Феликсом мы так же простились. На ходу, в людской толчее, перекинулись про дела, потом договорились скоро и непременно встретиться: есть о чем поговорить.

Они уходили на полушаге, мои сверстники, на полуслове, на полувздохе...

Ничто, никогда, никакая причина не объяснит: за-

славы, которая, хочешь не хочешь, распространялась на нас.

Мы гордились своими учительницами!

Впрочем, гордость не мешала потихонечку похихивать над ними. Не всегда, конечно, лишь на улице, после уроков, но школа работала в три смены, и наши старушки уходили отсюда поздно, так что, пожалуй, лишь по весне, когда светлело и домой родные загоняли нашу братию чуть попозже, можно было увидеть эту картину.

Три наши старушечки шли рядышком, взявшись под руки, но ведь в руках у них были портфельчики, и поэтому та, что шла в середине, прижимала свой портфель к груди, другие держали ее одной рукой, а другой каждая несла свой портфель.

Они шли медленно, словно глубоко вдыхали свежий воздух, по-моему, даже жмурились от удовольствия и от яркого весеннего света, и если ты попался на глаза в эти мгновения, кажется, был им решительно неинтересен: они кивали, конечно, в ответ, но совершенно спокойно, без всякого чувства, равнодушно. Привыкли чуть ли не к ежечасной их требовательной опеке, мы не понимали перемен и, бывало, обсуждали их между собой, делясь неожиданными впечатлениями.

Это было чисто детское.

Мы забывали, что наши старушки идут домой после третьей смены подряд. Заводы тоже работали без передышки, но там рабочие уступали место друг другу. Учителей начальной школы никто не подменял.

Есть в маленьких городах своя особая тайная прелесть. Ты можешь найти человека, нужный дом, магазин или музей не в адресном столе или телефонной книге, а с помощью знакомого или просто встречного, при этом он чаще всего укажет тебе не номер или название улицы, а объяснит путь: иди два квартала прямо, потом направо, поверни еще раз, только налево, увидишь большой пятиэтажный дом, там будет много подъездов, но один со ступеньками, шагай туда, третий этаж и на площадке левая дверь. И не сомневайся, иди смело, найдешь кого тебе надо, только точно запомни повороты, а нет, запиши на спичечном коробке, троллейбусном билете, клочке бумаги.

Так и шел я на встречу с моими учителями. Целая вечность минула с тех пор, как осталась в моем прошлом девятая начальная, потом средняя, на другом краю города, университет, и много мне добрых людей встретилось, кто уму-разуму учил, но не зря говорят, что первая память — самая прочная, ярче других в сознании нашем начальные воспоминания самого раннего детства. Не они ли отдают предпочтение первому удивлению, первой боли, первой беде, а среди них — первому учителю?

Строго говоря, Аполлиария Николаевна была второй учительницей в моей жизни, первой оказалась Юлия Николаевна, она учила только первышей. Но то ли первый класс промчался для меня слишком незаметно и очень легко — ведь я умел и читать, и считать, и писать понемногу, а настоящие мои трудности — а значит, настоящее учение — начались со второго, то ли первый класс ни в какое сравнение не шел с тремя остальными, даже по продолжительности, то ли взрослое понимание военных лет все скорее настигало нас, но Юлию Николаевну я крепко уважал, а вот Аполлиарию Николаевну просто любил.

Если бы один я! Поначалу на переменках весь наш класс окружал ее, словно выводок птенцов заботливую наседку. Девчонки, так те бы просто повисли на ней, будь она чуточку помоложе. Подрастая, мы освобождались от внешних проявлений чувств, но оттого и любовь наша к учительнице только становилась серьезней...

И вот — сквозь столько лет! — я шел на свидание с ней.

По дорожке, указанной нянечкой из спортивной школы, я добрался до порога, за которым обретаюсь Фаина Васильевна. Она стоит в коридорчике, повторяет второй раз: «Вам кого?» — а я, забывшись на мгновение, спрашиваю себя, узнал бы я ее, встретив, к примеру, на улице? Сейчас-то я нахожу знакомые мне черты, но это потому, что искал ее, а так... Время способно ломать человеческую фигуру, пригибать плечи к земле тяжестью своих дней, не всегда легких, и это, в общем, понятно, но как удается ему изменить черты лица, оставляя в неприкосновенности лишь глаза? Нынешняя Фаина Васильевна только отдаленно походила на ту, которую я помнил, и неожиданная горечь наполнила меня.

Ведь это значило, что и я совсем не такой — тем более не такой! — времени подвластен все; одних старит, других превращает во взрослых из маленьких, наивных детей, и если я с трудом узнавал Фаину Васильевну, меня она просто не знала, не могла знать.

Я назвался, сказал про девятую школу, она согласно закивала головой, поспешно призналась, что помнит, как же, но по ее глазам, оставшимся спокойными, я понял, что она и теперь учительница, не желающая обидеть бывшего ученика своей непамятью.

Я сказал, что через несколько часов мой поезд и хотел бы увидеть Аполлиарию Николаевну, не укажет ли Фаина Васильевна мне путь. Я надеялся услышать, сколько кварталов и как идти, куда поворачивать и какой дом от угла, но она засобиралась, надела потертые пальто, и это ненормальное, поношенное пальто с воротником какого-то очень давнего, усталого меха, не раз, видать, уже переставленное, снова кольнуло меня. Без лишних слов я понял, что пенсия очень скромна, и хотя как будто хватает на все самое главное, лишнего она себе позволить не может, и к лишнему, вполне вероятно, она причисляет воротник, который не так уж и обязателен, и даже новое пальто.

Но они не привыкли жаловаться, мои знаменитые старушки, они умели мерить свои потребности самым малым. Фаина Васильевна, будто почувствовав мои мысли и оставшись ими недовольна, решила немедленно развезти их. Застегнув пальто, деловито оправив воротник, она обернулась ко мне и строго произнесла:

— А ты все-таки зря подумал, будто я тебя не помню.

Придерживая ее за локоток, подстраивая шаг под мелконюжий, осторожный, семенящий лад, стараясь заслонить собой маленькую согбенную фигурку от секущего бокового ветра, я вслушивался в слова, идущие откуда-то снизу. Про что она говорила? Про девятую начальную школу, которой больше нет на самом деле, одно здание, забывшее наши крики. Да и мы-то, выкормыши ее, разве часто вспоминаем приземистый двухэтажный дом очень старого красного кирпича?

Одна она, Фаина Васильевна, да еще моя милая старушка, к которой идем мы вдвоем, помнят свою девятую по-настоящему и знают о ней много такого, что неведомо было нам. Мы лишь мимолетные, временные ее жильцы, торопливые бегуны, которым некогда обращаться по сторонам, если что и помнили, то только из щедрости природы, которая независимо от нашей воли заставляет навеки запомнить не выцветающие от времени картинки детства — словом, много нас вбежало в первый класс, чтобы потом выбежать из четвертого и ринуться дальше в многоцветную, сверкающую жизнь, попадая в объятия любимых, сшибаясь об острые углы вражды, побеждая и оказываясь побежденными. Мы для школы — величина переменная, и только они, учителя, величины постоянные.

Фаина Васильевна роняла фразы, не повышая голоса, не замечая, что ветер задувает ее слова, вспоминала, как работали они в три смены, кипятили ведрами воду в бачок, чтобы мы не пили сырой воды, вокруг свирепствовал тиф, как чертили на доске не по линейке, потому что до больших линеек не было, а по острогойной досточке, их делал школьный конюх, а как же, кроме учителей и нянечек, в штате был конюх, он же водовоз, истопник, и лошадь, и школе выделяли, кроме фонда зарплаты, фуражный фонд, но его не хватало, и летом, когда ребята расходились на каникулы, учителя ходили на луга, косили сено на зиму для школьной кобылы, и как вдруг, когда все самое тяжелое миновало, девятую решили расформировать, передать детей в среднюю школу, начальные больше не требовались, потому что исчезло само понятие «начальное образование».

Она говорила рваными фразами, без всяких подробностей, точно сама себе напоминала главные вещи, а ей не требовались уточнения и углубления, и после нескольких фраз вскидывала голову и, обращаясь уже ко мне, повторяла одно и то же:

— А годы-то ох да ох!

Ох да ох!

А жизнь готовила мне нечто невероятное.

Мы подошли к дому из силикатного кирпича в глубине квартала, где жила Аполлиария Николаевна, и, пока переходили двор, во всех окошках светились разноцветные огни. Но едва мы приблизились, дом бесшумно исчез в темноте.

Послышались шаги, мелькнула тень, мальчишеский голос объявил нам, будто мы сами не видели: — Пробки перегорели.

— Ничего, — сказала Фаина Васильевна, — мы и в темноте доберемся.

Я еще ничего не понимал, никаких не испытывал предчувствий.

Фаина Васильевна отыскала во тьме кнопку звонка, нажала ее, коротко рассмеялась и постучала в дверь.

Нам открыли... Я вошел и замер у порога, затаив дыхание.

Я вошел в другое время.

Моя учительница строго глядела на меня, и свечка, горевшая рядом, освещала ее усохшее, в глубоких морщинах лицо.

Вот сейчас она встанет и медленно пойдет по рядам, наклоняясь к партам и зажигая пламенем своей свечки фитили самодельных коптилок и других свечей, и класс постепенно озарится колеблющимся, дрожащим светом. Если сесть на заднюю парту, а еще лучше встать в угол и посмотреть на весь

класс сразу, маленькие огоньки, расставленные по партам, вызовут страшное оцепенение, ощущение чего-то торжественного, как, например, молитва в церкви, хотя эту молитву тогда я видел один всего раз, да и то через открытую церковную дверь. Но в то же время класс, освещенный теплыми огоньками, создавал уютность, и когда вспыхивал электрический свет, нас точно обдало холодом.

Половина первого урока нравилась мне больше всего, потому что мы говорили не про учение, а про всякую всячину — ведь после того, как Аполлиария Николаевна зажгала огоньки, она возвращалась к столу, доставала из своего портфеля коробочку, склеенную из желтоватого картона, а вслед за ней серебряную старинную ложку, завернутую в платок; дежурный по классу заранее наливал из бачка в коридоре кружку кипяченой воды — кружка стояла в учительской на подоконнике, — и вот она снова шла по рядам, доставала ложечкой из коробочки шарик витамина «С» и клала его прямо в чай-то рот, потом булькала ложкой в кружку, которую нес дежурный, и повторяла все сначала.

Можно было раздать шарики быстрее, сэкономив урок, но наша Аполлиария Николаевна знала нас, знала, что дай витаминку в руки, мы тут же начнем меняться или копить, а это значит, что кто-то останется без спасительного шарика: по городу угрюмо бродила цинга, и раз в неделю, когда уже светало, учительница заставляла нас неудобно открывать рот, сжав при этом зубы. Она осматривала десны.

Впрочем, витаминки хватало ненадолго, и чаще всего на учительском столе по утрам высилось эмалированное ведро.

Вот это была мука! В ведре она запаривала хвою еловую или от сосны, получался красивый на вид зеленый, но до ужаса горький отвар, и Аполлиария Николаевна снова терпеливо ходила по рядам, теперь уже с кружкой, полоскать которую приходилось в котелке.

Мы ныли, мы канючили, нельзя ли подсластить этот хвойный отвар хотя бы сахарином, а еще лучше заменить его шариками витамина «С», но Аполлиария Николаевна отвечала нам, что сахарин вреден для почек, что горький вкус отвара — это признак природного витамина, который содержится в хвое, и что его пьют даже раненые в госпитале.

Это сравнение возмывало нас, заставляло пить горькую воду, но забыть сладкие шарики мы не могли.

Только потом школьная нянечка проговорила как-то, что витаминки-то Аполлиария Николаевна получала в аптеке на деньги, которые полагались ей за орден Ленина. А еще на свою зарплату. И уж потом только заваривала горькую хвою.

И вот она разглядывала меня, как тогда, давным-давно, прикрыв ладошкой пламя свечи. Ладонку истончило время, она светилась красным с желтизной лепестком, я шагнул к ней, поцеловал ее в висок, поздоровался, потом назвал свою фамилию.

— Алик! — воскликнула она.

— Неужели помните?

— А как же!

— Но прошла целая вечность! Тридцать лет!

— Милый мой, — сказала она поучающе, но со смехом в голосе, — запомни: человек в моем возрасте не знает, что он делал пять минут назад, но зато хорошо помнит, что сказала ему однажды поутру бабушка лет этак, — она прищурилась, — девяносто назад.

— Аполлиария Николаевна! — воскликнул я. — Хоть, может, это бестактность задавать такой вопрос тебе, простите, но сколько же вам?

— Хо! — игриво взмахнула она рукой. — Пожалуй-ста! Я уже давно за пределами того возраста, который называется дамским. Стукнуло еще пять!

— Сверх?

— Сверх девяноста.

Настала моя пора. Приглядевшись ко мне, она сказала властным, как в четвертом классе, голосом: — Теперь говори ты. Где живешь, что делаешь, где учился?

Я рассказывал торопливо, очень бегло, мне не терпелось поговорить с ней о ней, повыспросить побольше про ее жизнь, но вышло так, словно я плохо ответил урок.

— Куда ты торопишься? — спросила она и усмехнулась. — Как видишь, я уже нигуда не спешу.

Неожиданно я вспомнил наши утренние уроки, рассказал, как она зажгала коптилки и свечи, а потом раздавала витаминки или поила отваром.

— Да? — удивилась она. — Решительно не помню. Я сказал:

— Ведь раньше за ордена полагались деньги.

Она вздрогнула, точно испугалась, ответила, будто оправдывалась:

— Нет, нет, я не считала себя вправе!

— Что именно? — спросил я.

— Тратить их на себя. Покупала что-нибудь детям. Например, хлеб на рынке. Резала его в учительской и на перемене давала самым голодным.

— Как вы узнавали, кто голоден?

— Я знала положение каждого. Правда, это не всегда помогало. Так что я по глазам.

— По глазам?

— Ну да! Тот, кто голоден, сначала более восприимчив, знаешь ли! Он лучше слышит и лучше видит! И у него по-особому блестят глаза. Но это только вначале. Потом наступает зевота. За ней дремота. И сон. Так что разглядеть голодного ребенка очень легко, всякий учитель должен уметь это.

Она поглядела на свою подружку, что-то, видно, не понравилось ей, и она спросила:

— Я права, Фаина Васильевна?

— Теперь другое время, Аполлинурия Николаевна,— ответила, вздохнув, та.— Такие знания учителя вовсе не обязательны.

— Вот уж глупость!— Моя старушка заворочалась, и только теперь я увидел, что сидит она на кровати, опершись на подушку, однако прибрана и ухожена, в простенькой черной кофточке, но с неизменным белым воротничком.

Перехватив мой взгляд, Аполлинурия Николаевна рассмеялась, показав белоснежные зубы.

— Не смотри на меня так,— сказала она,— это я просто сломала ногу. Прямо здесь, в комнате, на ровном месте. И на старуху бывает проруха. Что же касается зубов, то за всю свою краткую жизнь я ни разу не была в зубном кабинете.

— Была!— вспомнил я.

Еще бы! Каждый год всем классом мы ходили в зубную поликлинику. Вот уж где все становилось очевидным. Героев сразу видно. И гордые девчонки выходили из-за дверей какие-то смятые и в слезах.

Но не тут-то было: нашу учительницу трудно сбить.

— Была!— воскликнул я, и она тотчас парировала:

— Только с вами!

И тем не менее, как ухитряется эта трогательная старушечка перехватывать мои взгляды и на лету ловить мысли?

— Так вот, это великая глупость,— повернулась учительница к Фаине Васильевне. Она ведь не закончила свою мысль.— Учитель обязан знать всего ребенка, с макушки до пяток! Его развитие, привычки, даже то, чего нет, но что может с ним быть. Он просто обязан! Вот и все. Кстати, как твоя бабушка? Она жива?

Я сказал, как попал сюда, откуда пришел.

— Да,— сказала она,— у тебя была замечательная бабушка. Вот только забыла, как ее звали, прости. А жила она напротив съезда к парому, сейчас бы нашла, кабы не нога. А как стихи любила и много знала, молодец!

Я тарачился на великое чудо.

— Откуда вы знаете?— спросил я.— Она читала вам? Говорила об этом?

— Ну что ты!— покачала она головой, хитро поглядывая на меня.— Ты сам сказал.

— Когда?

— А тогда. Давно. На уроке!

Наверное, у меня был совершенно дурацкий вид, потому что Аполлинурия Николаевна снисходительно улыбнулась и заговорила о чем-то с Фаиной Васильевной. Сжалилась, решила дать передышку.

Я вспомнил: бабушка спрашивала меня будто, не забыл ли я чего?

Не забыл? Многое надо вспомнить, если запомнил, но стихи ее не забыть, нет.

Откуда она знала их так много? Почему не успел спросить? Нет, спрашивал. Она отвечала, как всегда, с ласковой улыбкой и все же неохотно. В ее детстве были книги, она их любила, особенно вот Некрасова, он ведь легко запоминается, целыми страницами, хорошие простые стихи.

Еще я вспомнил, что у нее была потрепанная обложка тетрадка и, став постарше, бабушка записывала в нее стихи, которые помнила наизусть. Я спросил ее, зачем она это делает, раз и без того знает на память. Она ответила, дескать, просто так. Потом, став серьезной и вздохнув при этой, пояснила, что вот все чаще их забывает. Провалы какие-то. Потом походит несколько дней и вдруг где-нибудь в магазине вспомнит то, что забыла.

— Вот я и пишу, что помню,— сказала бабушка.— Какое забыла, пропущу, а вспомню и запишу на пустые места.

Это было в последние годы, когда не стало деда, и она часто оставалась одна. У мамы свои дела, брат учился, а я жил в другом городе.

О чем она думала, моя хорошая, что вспоминала, оставшись одна? Никогда, нет, никогда уже теперь не узнать мне об этом.

Бабушкины стихи я слушал чаще всего почему-то в сумерки, пока не пришли с работы мама и бабушка, свет не включен, уроки я давно приготовил, и вот настает такой час, когда мы вдвоем, ничто не отвлекает нас, ужин у бабушки поспел, только подогреть, и вот мы сидим за столом, серый вечер вливается в окна, ни читать, ни говорить, ни слушать радио неохота, мы молчим, даже не глядя друг на друга. У сумерек есть способность чуть-чуть приостанавливать жизнь. День не сразу переходит в вечер, а выцветает, становится блеклым, и все же это еще не потемки: полувечер, полдень. Дыхание становится глубже, но медленнее, движения спокойнее, как бы ленивее в предчувствии новой части дня; голоса тише.

В такую вот пору вдруг, без всяких приготовлений и даже как будто сама себе, очень негромко, бабушка начинает читать стихи.

Они у нее всегда длинные; эти стихотворения похожи на рассказы, в них есть постепенность и события, и мне очень нравится именно это — что в них не просто несколько громких строчек, а целая история.

Я любил длинные стихи, например, про медведя, как ехал ямщик на тройке, к нему попросился какой-то человек с ручным медведем, они у трактира остановились, вышли перекусить, а медведь в санях подал голос, и лошади с перепугу его понесли, получилось, что топтыгин скачет на санях, будто знатный генерал. Умора!

Но бабушка с весельем моим не соглашалась, по ней стихи не для смеху писались, и она мне читала про то, как Мороз-воевода дозором обходит владенья свои, про крестьянских детей, про Орину — мать солдатскую, про Ивана Сусанина, а больше всего любила про железную дорогу.

Бабушка бывала радостной, и нередко, я любил ее в такие минуты, но чаще она будто бы осаживала себя, улыбалась сдержанно, если хвалила что-нибудь, то в полмеры, и стихи она любила печальные, какие за сердце берут.

Где уж мне, разве я помню, а она вот не по книжке и не по тетрадке читала мне негромко, но торжественно в сумеречный, серый час. Было чуть-чуть страшновато, картина, которую она мне рассказывала, выходила яркая, в красках, и сердце мое бухало тяжелыми ударами.

Прости, я открою книжку, чтобы вспомнить твой голос, твои интонации. Как это тут?

*Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?*

*Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.*

*Труд этот, Ваня, был страшно громаден —
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.*

*Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.*

*Он-то согнал сюда массы народные.
Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.*

*Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?*

В этом месте я часто моргал, мне хотелось отчего-то плакать, в горле першило, и я был благодарен сумеркам за то, что они такие серые и размывают очертания лиц, и значит, бабушка меня не увидит. Но она и не глядела на меня. Ее лицо повернуто к окну, спина выпрямлена, голос уже звенит, точно она не мне одному читает, а еще кому-то там, за окном.

*Чу! Восклицанья слышались грозные!
Топот и скрежет зубов,
Тень набежала на стекла морозные...
Что там? Толпа мертвецов!*

*То обгоняют дорогу чугунную,
То сторонами бегут.
Слышишь ты пение?... «В ночь эту лунную
Любо нам видеть свой труд!»*

*Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролись с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой.*

*Грабили нас грамотей-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Всё претерпели мы, божики ратники,
Мирные дети труда.*

*Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено...
Всё ли нас, бедных, добром поминате
Или забыли давно?»*

*Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки Волги, с Оки,
С разных концов государства великого —
Это всё братья твои — мужики!*

*Стыдно робеть, закрываться перчаткою,
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
Видишь, стоит, изможден лихорадкой,
Высокорослый, больной белорус:*

*Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;*

*Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век...
Ты приглядишься к нему, Ваня, внимательно:
Трудно свой хлеб добывал человек!*

*Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: туло молчит
И механически ржавой лопатой
Мерзлую землю долбит!*

*Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.*

*Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что господь ни пошлет!*

*Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе.*

Наступала тишина, дальше бабушка не читала, наверное, знала только этот отрывок, но мы молчали, говорить не хотелось. Сумерки густели, потом в комнату вползала тьма и лишь серебрено светились оконные переплеты.

Потом оцепенение кончалось. Бабушка вставала, включала свет, но мы еще долго не глядели друг на друга, будто было стыдно за что-то.

Наверное, вот за что: мы есть, а тех, про кого стихи, давно нет. Что-то саднило душу.

Жаль, жаль — редко читаем Некрасова. А ведь в одной московской школе смело мыслящий педагог с критическим креном ума сказал мне, что Некрасов сентиментален, что дети читают его без интереса, воспринимают точно историческую иллюстрацию и, мол, пора бы его подсократить в школьном курсе.

Я слушал его, не веря ушам. Вообще развешивать ярлыки — признак злого умысла и равнодушного сердца. К тому же у заимемого слова «сентиментальность» есть русский эквивалент — «чувствительность», и то и другое усилиями критики и воспитания обращено в нечто постыдное. Чувствовать неприлично; плохо, когда плачут, это теперь вроде как признак низкой степени развития. И не стыдно — бесчувственные дети щеголяют жестокостью к животным, отроки поднимают руки на стариков, юные — на безответных.

Не этого ли добивались злобные развешиватели ярлыков — оградить от сострадания, отучить от слез, усыпить совесть? Немалого достиг нечистый дух расчета. Ведь по меркам — плакать невыгодно.

Да, счастливая была моя бабушка. Она не знала ничего этого.

Она верила в то, что слезы очищают, что надобно мне, существу бесконечно далекому от прошлых лет, укреплять упражнениями души свою память и вместе с Ваней из поэмы Некрасова не забывать о тех, кого нет...

С трудом выплывая из тягучей черной воды, возвращаясь из прошлого, я пристально вглядывался в Аполлинурию Николаевну. Она тоже разглядывала меня, осторожно, внимательно, не изъясля лишнего любопытства, и все же как будто о чем-то спрашивала меня. Вспомнил ли? Конечно! И не забывал. Будто услышав мой ответ, она коротко, слабо вздохнула, облегченно улыбнулась.

— Ты знаешь,— сказала она со смехом,— у моего возраста есть один серьезный недостаток. Как ни старайся, как ни помни свое прошлое, а все равно тянет сюда. Вот слушаю радио, читаю газеты, хотя трудно, буквы мелковаты для моих глаз. Зачем, говорю иногда себе? Почему ты цепляешься за то, что тебе, говоря откровенно, уже не принадлежит? Цепляешься, будто за спасательный круг?

Фаина Васильевна замахала на нее рукой, сказала, перебивая:

— Грех, грех так говорить. Надо жить пока живется.

— Фаина Васильевна! — укоризненно проговорила учительница.— Мы же с вами материалисты! И, главное, я про то же!

Она перевела взгляд на меня и сказала:

— Понимаешь, я все поражаюсь: почему же жить-то не надоедает?

Она рассмеялась мелконьким смешком, а я, разглядывая ее с нарастающим удивлением, вспоминал больницу, свои страхи. Выходит, в них был смысл — жить не надоедает, да еще когда ты на полдороге. Но мы суеверно молчим об этом, думаем лишь о том, чтобы обнесло, проскочило мимо. Но вот я говорю с женщиной, которая действительно уже ничего не боится, и она думает без всяких суеверий и страхов: жить не надоедает, нет. Моей учительнице можно верить.

— Ты знаешь,— снова говорит она,— я никогда не тряслась за свою жизнь, может, это мне помогло? Часто думаю: гляди-ка, сколько твоих ровесников давным-давно нету, сколько учеников полегло, осо-

бенно на войне, да и так, по возрасту, и среди них множество людей достойнее тебя, полезнее народу, стране, но их нет, а ты, старая перечница, все еще кадишь!

Она перевела дыхание.

— Ну, разболталась! Скажи теперь ты. По свету ездивал? Много? И в Америке был? Расскажи, что за люди, чего от нас все хотят?

Я говорил про небоскребы и «боинги», про людей доброжелательных и наглых, но делал это механически, потому что память моя двигалась совсем в другую сторону и в другое время.

Я вспомнил Вовку, с которым мы сидели на одной парте целых три года, белобрысого моего дружка начальных школьных лет, его большую, как футбольный мяч, голову и крупные, крепкие, будто у бобра, передние зубы, которыми он изгрызал сперва в лохмотья, потом в короткие огарочки свои школьные ручки. Он был головастым не только в прямом, но еще и переносном смысле слова, любил арифметику и умел легко щелкать трудные задачки, однако вот был у него при этом один недостаток: грыз ручки.

Аполлиария Николаевна говорила ему:

— На тебя никакой «Физприбор» ручек не нападет.

Был в нашем городе такой заводик по имени «Физприбор», который делал ученические ручки и всякие другие школьные радости, например, жужжачие электрические машины, где между двумя никелированными шарами с треском пролетает искра.

«Физприбор» действительно изрядно напрягался, работая на Вовку, и чуть не каждую неделю Аполлиария Николаевна, покачивая головой, поглядев на моего соседа, погруженного в науку, помедлил и вздохнув, отдавала ему свою ручку.

Он озирался по сторонам, потому что по классу прокатывался смехок, впрочем, уже привычный, совершенно несатирический — мы фыркали просто так, по привычке, и Вовка тотчас принимался грызть новую ручку.

Перышко только Аполлиария Николаевна не отдавала. Перышки, восемьдесят шестые или лягушки, были большой ценностью даже для нее, а потом кто не знает, что самое лучшее перо — расписанное, а не новое, с которого чернила капают, норовя оставить кляксу.

Так вот Вовка.

У них с Аполлиарией Николаевной были какие-то совершенно особые, простецкие отношения. Например, она могла его назвать вот так: Вов.

— Вов,— например,— иди-ка отвечай!

И он шел, вовсе не удивляясь такому обращению, хотя всех остальных Аполлиария Николаевна называла по-другому, если не более официально, то более полно, скажем так: например, могла назвать человека полным именем Алексей или детским — Алеша, но никогда по-ребячьи, допустим, Алеш или Алешка. А Вовку она могла при всех назвать Вовкой. И он ухом не вел. Даже, кажется, еще охотнее отъезжал на такое обращение и вообще был покладистее, старался.

Однажды я спросил его про это. Не сразу спросил, а в классе четвертом, когда мы стали постарше, и, видно, привычное виделось новыми глазами.

— Ха,— сказал Вовка,— так ведь Аполлиария Николаевна учила мою мамку, потом братана, сестру и вот теперь меня.

Он помолчал и потом добавил очень обыкновенным, без всяких интонаций голосом, точно говорил о самом обыкновенном и простом:

— Она же нам как родная.

Вовка замедлил шаг, глаза его остановились, он вперился в улицу перед собой, будто оглох и онемел.

— Ты чо? — спросил я его.— Опять?

Такие затмения часто находили на Вовку, и мне сначала казалось, что он сошел с ума, «сбрендил», как мы выражались. Но я уже не раз убеждался, что Вовка погружается в свои думы очень даже неспроста. О чем-то таком важным думает и сейчас скажет об этом. Он сказал:

— Знаешь, как она мать обманывала!

Вовка прошел несколько шагов, мотнул головой.

— Нехорошо выразился. Не обманывала, а выручала.

Я расскажу об этом своими словами, теперь зная и понимая больше, чем тогда. Но вначале еще малость про то время, каким я его видел. Ведь я тоже был свидетелем этих обманов.

В начале третьего класса с Аполлиарией Николаевной что-то произошло. Стояла теплая осень, бабье лето, а она зябко куталась в платок и дрожала. Еще вчера она чувствовала себя прекрасно, шутила, а тут прямо лихорадка какая-то. Вообще что-то не так.

Новый урок не объясняет, вызывает одного за другим и всех подряд спрашивает. Мы отвечали как всегда, кто лучше, кто хуже, но она даже, кажется, и не слушала. Глаза ее блестели, кажется, набегали слезы, так бывает, когда сильный грипп и насморк. Аполлиария Николаевна и правда часто вытирала нос платком.

Словом, она слушала наши ответы как во сне

и никому не ставила отметок, пока мой Вовка не спросил обеспокоенно:

— Аполлиария Николаевна! Может, вам таблетку принять? Или к врачу?

Она посмотрела на него со страхом. С неприкрытым, явным страхом, я хорошо это запомнил. Потом отвела взгляд, словно была чем-то недовольна, но голосом сказала совсем другим, добрым:

— Вов,— сказала она,— иди.

Вовка вышел к столу, чего-то бодро отвечал, очень старательно, конечно, хотел порадовать учительницу, но она ничего не слышала — это уж точно. Потому что, когда Вовка закончил свой ответ, Аполлиария Николаевна смотрела перед собой невидящим взглядом и ничего не говорила.

Мы, похоже, не на шутку испугались; стояла тишина. Сколько это тянулось? Три, пять, семь минут?

Вовка деликатно кашлянул, учительница встрепетнулась и что-то отметила в журнале. Возвращаясь на место, Вовка заглянул в журнал, лицо его расплылось, он показал мне издаലെка растопыренную птерно.

Дверь хлопнула, в классе появилась Фаина Васильевна.

— Аполлиария Николаевна,— сказала она,— как вы себя чувствуете?

— Ничего,— ответила учительница.

— Может, вас подменить? Или отпустим ребят?

— Нет,— тихим, больным голосом ответила Аполлиария Николаевна.

Но больше всего меня удивила фраза, сказанная Фаиной Васильевной совершенно невпопад:

— А Волода здесь?

Она отыскала глазами моего соседа — с чего бы это? — кивнула головой и исчезла.

Я толкнул Вовку локтем. Он понял меня без слов и пожал плечами. Оглядев его, я понял, что сосед мой и правда ничего не понимает.

Все пять уроков прошли одинаково. Аполлиарию Николаевну знобило, но она упрямо не шла к врачу, вызывала нас всех подряд, но ни на кого не обращая внимания, и только Вовка получил еще две пятёрки.

Эту ее болезнь быстро все забыли, потому что наутро Аполлиария Николаевна была совсем другой, какой-то решительной и собранной, за весь день она никого не вызвала, наоборот, только говорила сама.

Вот и все, что заметил я тогда, ничего, конечно же, не поняв.

Вовка помнил тот день. Теперь он знал все остальное, хотя рассказывал коротко и сухо. Он передал мне смысл — я вижу сцены.

Утром она неторопливо шла по улице, солнечной, по-осеннему нарядной, поражалась чудесной тишине, вдыхала пряный, остановившийся, словно остекленевший воздух, ловила взглядом лист, плывущий, как на волнах, в воздухе, покачивающийся краями, провожала его, пока не ляжет на дощатый тротуар или острые стебли поздней травы, затем вновь поднимала голову и присматривала в покойном, неторопливом опадании другой листок.

Это походило на забаву, на игру, достойную более ее учеников, нежели учительницы, и, тем не менее, невниманное развлечение по-детски радовало ее.

Она уставала, это ясно, но кому интересна ее усталость теперь, когда идет война. Уже много раз она ловила на себе странный взгляд знакомых женщин и понимала его без всяких слов. Эти женщины, матери ее учеников, не могли простить, что на фронте у нее никого нет, что она одна, и всегда была одна, и вот теперь этот страшный выбор спасал ее от бед.

Так думали женщины, она, учительница, знала ход их мыслей и, бывало, накидывала на себя чопорность, но это плохо подходило ее характеру да и самому существу. Женщины думали так, как им думалось, и в таких случаях редко кому удается проникнуть за полог чужой души, а ее душа болела за всех...

Как быстро меняется смысл понятий! По нынешним временам за всех чаще подразумевают циничное — ни за кого; громкую фразу при душевном равнодушии, не чувство, а в лучшем случае, натянутую имитацию его. Аполлиария Николаевна жила другими правилами, раз и навсегда выбрав их еще в юности под руководством беззаветности и любви. Восемнадцати лет придя в школу учительствовать, она уже знала, что всю жизнь будет одна, семья по ее святому разумению — конечно же, ошибочному в нынешние практичные времена! — будет мешать работе, служению детям, многим ее детям. Впрочем, выбирая учительское ремесло, нередко в тот старинный век руководились идеальными понятиями о служении народу и просвещению, при которых самоотверженность во имя детей и педагогическое самоотречение не оставались пустыми фразами, а звучали как девиз жизни целеустремленной и ясной.

Душа учительская была призвана болеть не за одного, не за троих, а за всех, и вовсе не обязательно подразумевать под этим словом только своих учеников.

Впрочем, как минимум это признавалось. За всех своих учеников. В полную меру искренности и глубокой человеческой страсти.

Так что любованье листопадом и застывшим осенним воздухом было только минутным оцепенением, краткой передышкой в бесконечном напряжении, когда нет времени вспомнить о себе и когда так ясно убеждаешься в правильности самоотречения. Переменка перед долгим уроком дня.

Теплое осеннее утро в тылу, эта неправдоподобная тишина только подчеркивали кровавую жестокость войны, где воюют ее бесчисленные Вани, Вити, Сережи и Толи, фамилии которых она, конечно же, превосходно помнит и, перебирая недолгими усталыми вечерами коллективные фотографии выпускных классов, каждого безошибочно знает в лицо.

Эти фотографии хранятся в отдельном старинном альбоме с сафьяновым переплетом и бронзовой застежкой — собрание ее сочинений, переводя на писательские понятия.

Сперва она решила помещать фотографии в прямой последовательности, одну за одной, выпуск за выпуском, но потом эти коллективные карточки пришлось раздвигать, распустить, как вязанье, заполняя освобождающееся место фотографиями людей в пижаках и косоovorотках, в красноармейских шлемах с кубиками в петлицах, молодых женщин с детьми на руках, и снимки забавных, никогда не виданных в жизни детских мордах, ее названных внучат.

Нет, зря кое-какие современники стараются — за спиной, конечно — высмеять старую идею учительского самоотречения, поглядите, какая родня, сколько народу помнит ее и знает от родителей, но, главное, конечно же, не в этом, главное, что сердце болит за каждого из них.

Уйдем от общих мест — сердце болит не как за детей. Что ж, сердце учителя имеет право на собственную особую боль, когда оно страдает за жизни и судьбы учеников, и это чистое, достойное право. Ты думаешь об их лицах, об их здоровье. Так думают матери. Их чувство глубже, глупо спорить, зато у тебя есть еще одно, чего может не быть у матери, — ответственность за то, как твои знания помогают человеку жить. За то, насколько хороши твои знания.

Нет, одно с другим не соревнуется, ведь не напрасна же ее сладкая боль, когда вечером, одиошенка, она глядит на фотографии выпускников в старом альбоме, проводит кончиками пальцев по стриженным головам мальчишек, словно снимает нависшую над ними опасность.

Вот так она шла к своей школе, знакомой, много раз хоженой дорогой, в задумчивости, минутной умиротворенности, и вдруг, словно этот покой и эта тихая радость возмутили кого-то, какую-то таинственную злобную силу, не привыкшую к тому, чтобы у моей учительницы на душе было тепло и покойно, вдруг перед ней возникло молодое плачущее лицо.

— Ну что ты? — сразу, ничего еще не зная, но желая утешить, сказала Аполлиария Николаевна, и эти ее немедленно сорвавшиеся слова пока еще не были облечены чувством; они походили на рефлекс, на первичную реакцию, на вскрик, если неожиданно уколол себя иголкой.

Это была ее ученица, почтальонка, совсем девочка. Часто, встретив учительницу вот так же как теперь, на улице, Глаша восторженно ей улыбалась, прибавляла шаг, даже бежала навстречу, протягивая письмо, а то и не одно, и если в обратном адресе находила знакомое имя своей подружки или товарища, громко объявляла это Аполлиарию Николаевну. И вот Глашино лицо было мокрехоньким, и такая безудержная тоска сыла в глазах, такое отчаяние, что учительница сразу поняла: беда.

— Ну? — выдохнула она.

— Не могу! — проговорила Глаша.— Не могу я!..

— Говори!

— Похоронка на Сережку!

— Дай мне,— сказала она опустошенно, дрожащими руками расстегнула портфель и сунула туда листок.

Теперь она прижимала портфель к груди, смотрела на Глашу, на ее омытое слезами лицо, сердце нехорошо проваливалось куда-то, стучало громко, с перебойми, до нее только-только доходило Глашино сообщение и только теперь понимала собственный поступок. Она отняла похоронку, спрятала у себя. Почему?

Постепенно, задним числом, возникали причины. Сережина мать — сердечница, Аполлиария Николаевна учила ее, давно когда-то, потом ее детей, Сережу и его сестру, теперь учится Вовка... И Глаша, ей ли нести похоронку в такой дом?

— Никому ни слова,— сказала ей Аполлиария Николаевна.— Я сама.

Путь, оставшийся до школы, она прошла словно во мгле — лишь изредка возникали размытые детские лица, едва слышался голоса, она, кажется, кивала в ответ, будто заведенная, вошла в учительскую, потом в директорский кабинет. Он был пуст.

Она присела на стул и только теперь позволила себе раскрыться: заплакала. Вошла Фаина Васильев-

на. Увидев слезы, плотно притворила дверь, прислонилась спиной, чтобы не вошел никто лишний. Аполливария Николаевна расстегнула портфель, показала похоронку.

— Помнишь ее? — спросила она.

— Сердечница.

— Вот-вот. И у нее маленький Вовка в моем классе.

Нянячка в коридоре зазвякала большим медным звонком на деревянной ручке.

— Тепло, а меня что-то знобит, — сказала она. И пошла на урок.

В тот день ей не удалось собрать свои силы, чтобы увидеть мать погибшего ученика. Она приготовилась лишь на вторые сутки, взяла в руки сама себя. После уроков, когда стемнело, она вошла в комнатушку, где жил Вовка, и встретила глазами с взглядом той, которой рано или поздно ей предстояло сказать жуткое известие.

Женщина, которая когда-то училась у нее, была немолода. Гладко зачесанные светлые волосы блеснули под светом электрической лампочки, и этот же прямой свет подчеркивал и без того явные круги под глазами — признак нездоровья.

Хозяйка засутилась, схватила полотенце, обернула табуретку, подставила ее учительнице.

— Чего-нибудь напроказил?

— Разве я когда жалуюсь на учеников? — усмеялась Аполливария Николаевна. — Ну-ка, вспомни, жаловалась на тебя?

— Ой, да что вы, — женщина махнула рукой.

— Ну, а Вовка твой... Если что и не так будет, я сама с ним справлюсь, не бойся, к тебе не приду.

Хозяйка принялась причитать, что и так, без всякой причины рада видеть свою дорогую учительницу, которая и ее самое выучила, и двоих детей, а теперь и последыша, Вовку.

— Давай признавайся, — нарочито грубовато сказала учительница. — Сама-то как?

— Да что, тянусь потихоньку. И все бы ничего, да от Сереженьки вестей нету.

Она заплакала.

Мать заплакала, а ее душа замерла. Она не могла плакать, не имела права на это.

Она не имела права даже на то, чтобы дрогнули руки. Даже глаза опустить она не могла.

— Успокойся, — сказала она, — теперь беды водосталь.

Потом поговорили про сердце, про то, какие капли бьются в аптеке, травы вот разные, например, валярыяна.

Она чувствовала натяжку, хотя мать вела себя оживленно, радовалась гостю. Пока рада, но стоит уйти, тут же задумается: зачем приходила? Нужно было спешно выдумать причину. Подумала про Вовку и спохватилась.

— Я знаюшь чего зашла-то? Вовка уж больно ручки грызет.

Мать не поняла, округлила глаза:

— Грызет?

— Еще как! — Она заставила себя улыбнуться. — Ровно кролик какой капусту.

Мать хихикнула.

— Да, да, — поддала пару, — прямо хрустом хрустит!

Мать уже в голос смеялась.

— Дак чего, — спросила сквозь смех, — мне дель-то?

— Не знаю, — сказала она. — Все свои собственные ручки ему передавала, запас, какой в школе был, тоже. Хрустит! Ты уж с ним поговори, что ли.

Хозяйка проводила, вытирая веселые слезы передином, она же выходила с новой тоской. Ничего ей не удалось. Много чего умела учительница, и по арифметике, и по письму, и даже рисовать, хоть плоховато, а обучилась, чтобы уроки рисования вести, а вот как приготовить к горю, этого — нет, этого — не знала...

Много недель проползло, пробежало, пролетело, и о многом переговорила две женщины, учительница и мать. Про горе разговаривали, которое вокруг шныряет, в каждый дом норовит влезть, про тяжкие бои, о которых учительница в газете читала, про беженцев и детские дома, каких город принял, про малокровие и дистрофию, с какими приезжают ребятки из Ленинграда, про многое чего еще, что женщинам важно и дорого, — про то, чем мыло заменить, если нет совсем, про пуговицы, которые на ребятне, будто лягушки, право слово, совсем не держатся, про цену, какую просят на рынке за катушку обычных черных ниток, и когда решила учительница, что настал час и должна она, наконец, сказать матери правду о сыне, та не заплакала, а лишь опустила голову и сказала:

— Да я ведь давно знаю, Аполливария Николаевна!

— Как! — воскликнула учительница.

— Догадалась. Поняла. И все слезы давно выплакала, вы не бойтесь.

Тогда заплакала она.

Сидела, умолкнув, уставившись в окно, и слезы катились по морщинистым щекам.

— Ну, а с Вовкой-то чем дело кончилось? — спросил я.

Не было у меня конца этой истории с деревянными ручками, забыл начисто.

— Купила ему железную. Знаешь, такие были, неудобные, толстые, совсем не для малышек, с одного конца огрызок карандаша, с другого ручка, они еще вовнутрь убираются.

Совсем забыл. Железо, видать, Вовке оказалось не по зубам.

Да, железо. Нам оно досталось в виде ручек и перьев, а другим в форме осколков и пуль. Вовкиному старшему брату Сереже, например.

Теперь-то мы намного старше Сережи, вот ведь какие дела. Где Вовка, я не знаю, утерьял его следы, но, главное, жив, чем-то занят своим, что-то делает, и старше мы с ним давно-давно его погибшего брата, никогда мной не виденного Сережи, только лишь потому, что даже самая страшная прежняя война делила железо не поровну. Не на всех.

А если же все-таки грянет новая?

Теперь не война железа — война радиации; страшно представить, какое равенство она обещает, взрослым и несмышленикам. Железа не могло хватить на всех, этого — хватит...

Неужто возможно?

— Нет, нет, — говорит она, — я в это не верю.

Мы говорим про войну, не прошлую — возможную.

— Представь себе, сколько энергии человечество тратит на ученье, не денег, а именно энергии, нашей, учительской, и, значит, человеческой. Эта энергия необычна. Духовная энергия. От нее не работают электростанции, но работает человеческий мозг. Дух. Разум, наконец. Доброта, гуманизм и на самый худой конец чувство самосохранения. Ты согласен?

Я-то согласен.

Она мотает головой. И наклоняется ко мне. Я приближаюсь.

— В конце концов, — говорит она, хитро усмеяясь, — жить не надоедает, я тебе говорила. Не только мне. Но и тем! — Она кивает куда-то в сторону. — Американцам.

Я рассказал, как там, на той стороне Земли меня пригласили в гости: очень солидная компания, негры и белые, пожилые, седоволосые люди. Стол ломился от еды, но и хозяйева и я, поняв друг друга с полуслова, договорились сперва посмотреть телевизор — запись вчерашнего матча по боксу в Атланте. Это была сенсация конца семидесятого года. Знаменитый Кассиус Клей, впоследствии Мохаммед Али, вышел на помост первый раз с тех пор, как отказался воевать во Вьетнаме. За это его лишили права боксировать.

Результат уже все знали, он был неинтересен, противник проиграл Клею очень быстро и по техническим причинам, кажется, расклевли бровь, но всем хотелось посмотреть Кассиуса, каков он стал, не испугался ли того, как ему погрозили пальцем.

Сказать откровенно, в том первом матче Клей был никаким, бой не получился, зрелище тоже. Победитель уходил с ринга растерянным, и я еще подумал, грешным делом: а может, это ему нарочно не дали победить с триумфом? Не допустили настоящей победы?

Потом была вечеринка, конечно же, все говорили про бокс, наконец мои доброжелательные хозяйева усадили меня в роскошное кресло, попросили рассказать про нашу жизнь и притихли.

Я подумал и рассказал им о том, как моя мама сдавала кровь, чтобы купить мне еду повкусней, как война отняла у моей жены отца и мать, оставив трех девочек на руках малограмотной бабушки, как моя учительница принесла матери известие о гибели собственного ученика и что в той войне у нас погибло двадцать миллионов.

— Сколько? — переспросил белоголовый от седины, интеллигентного вида, красивый негр. — Переведите еще раз.

Переводчик выполнил его просьбу.

— Не может быть! — воскликнула какая-то пожилая женщина.

— Вы не знали? — в свою очередь, крепко удивился я.

— Нет, — сказал уже третий, тоже седой человек. — Но вы не ошиблись? Может, двести тысяч?

— Двадцать миллионов, — проговорил я.

Тот вечер не удался. Мои хозяйева стали говорить как-то тише, боясь оскорбить меня и мои чувства. А я все поражался их красивым сединам.

— Значит, ты рассказал про меня? — спросила Аполливария Николаевна недоверчиво. И усмеялась сама себе. — Забавно! Я — и там! — Она указала пальцем вниз, метра, верно, в противоположное полушарие, но смысл вышел несколько иной. Озор-

ная старуха ни чуточки не смутилась и повторила движение по кривой, как бы по глобусу. — Я — и там, на той стороне Земли, — повторила она, улыбаясь.

Мой рассказ заставил ее вспомнить что-то.

— А помнишь, — спросила она, — как вы шили кресла?

— Еще бы!

— Девчонки еще куда ни шло, но ведь шили и вы, мальчишки.

— Потом собирали табак! — добавил я.

— Палиросную бумагу.

— А варезки!

— Концерты в госпиталях! — сказала Фаина Васильевна. — Мне звонили чуть не каждую неделю. Девятая начальная славилась артистами.

Нет, все-таки память не всеильна! Забыл я имя того пацана. И они не вспомнили, мои старушки.

Нинка играла на пианино, тут удивительного мало, правда, для нынешних времен. Тогда и на пианино редко кто играл, даже девчонки. Потом был Лешка из параллельного класса, он скрипел на маленькой скрипочке. А вот во втором учился гениальный пацан, у которого был трофейный аккордеон. Гениальность этого пацана просто перла наружу. Во-первых, голова у него была не круглая, как у всех, а вытянутая, вроде как у борзой собаки, даже неизвестно, как он надевал на такую голову шапку. Голова походила на угольный уголок. Может, его бы даже так и прозвали, уголом, если бы не оказался он таким гениальным. И, во-вторых, он никогда не смеялся. В глазах его всегда виднелось непонятное смирение.

Когда же требовалась музыка, например, по какому-нибудь праздничному случаю в школе, он спокойно, ни капельки не смущаясь, выходил вперед, садился на подготовленный стул и ждал, когда нянячка вместе с учительницей, или с матерью этого гения, или с его бабушкой притащат ему трофейный аккордеон с какими-то блистающими нарядными загогулинами и нежно-голубыми мехами.

Да, мехи были голубыми, аккордеон светло-серым, а имени пацана я не помню.

Ему, как маленькому, взрослые помогали надеть на плечи ремни, отходили в сторону, и он, все так же глядя прямо перед собой стеклянным взглядом, не пощадив клавиши и кнопки, не послушав звук, как слушали его другие аккордеонисты — повесив голову набок, почти приложив ухо к инструменту, — начинал шпарить свою музыку. Без всяких затруднений.

Разные там марши, песни и прочие неизвестные мне мелодии вылетали из трофейного аккордеона, а значит, головы, похужей на уголок, ясно и громко, вызывая у окружающего народа всеобщее ликование.

Я же читал стихи. И вот Нинка с нотной папкой на дивных витых веревочках, Леха с маленьким футляром, головастый талант в сопровождении каких-то взрослых идем в госпиталь.

Сердчишко мое трепещет, потому что в госпитале, куда мы идем, работает мама, а главное — лежит отец. Да! Это почти сказочное везение. Дважды раненный, оба раза отца везут по северной дороге, на Урал, и оба раза он добивается, чтобы его выгрузили на полпути, в нашем городе, почти дома.

Я вижу его каждый день, потому что каждый день после уроков иду к маме, и она проводит меня к отцу. Никто не ругается. Мне разрешил приходить сюда сам начальник госпиталя, потому что всякому понятно, какое выпало нам всем везение.

Но теперь я шел не просто так. Мы шли с концертом, а это было совсем другое дело. Я должен прочитать стихи так, чтобы отцу не сделалось стыдно.

И вот мы в странном помещении. После войны в этом здании был горсовет, а потом кукольный театр и детская библиотека. Отец лежал там, где теперь театральное фойе, а тогда это место выглядело довольно странно, потому что в огромной комнате, даже зале, одной стены как бы не было и вместо нее вниз, на первый этаж, уходила широченная чугунная лестница с витыми перилами. По лестнице никто не ходил, парадный вход, куда она вела, был заколочен, и получалась громадная палата с лестницей, ведущей вниз.

Справа от лестницы стояло пианино, и нас провели к нему. Тут нам и предстояло показать свои искусства.

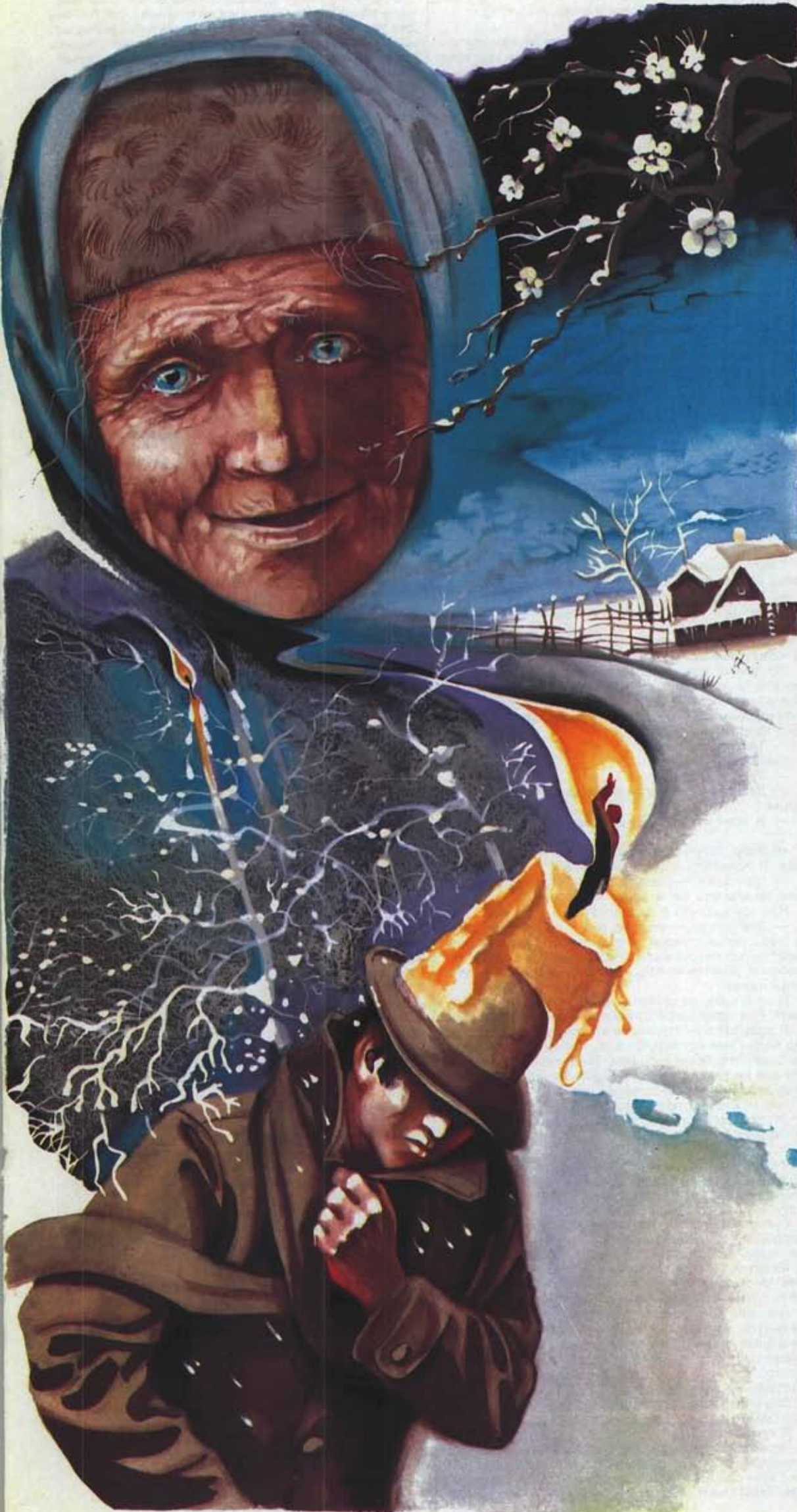
Горластая длинная тетка в белом халате, своими хватками совершенно непохожая на медицинскую работницу, закричала во всю глотку:

— Сейчас у нас будет концерт, товарищи раненые! Просим вас чуточку уплотниться, идут выздоравливающие из других палат!

Койки заскрипели, те, кто лежал, начали тесниться к краю, и к ним на одеяла стали присаживаться разнообразно перевязанные люди. Почему-то все больше было загипсованных раненых — у кого рука, у кого нога и даже шея.

Возникла заминка, нас разглядывали, улыбаясь. Отец лежал у самого входа и махал мне рукой.

Я заметил, как покрывалась красными пятнами Нин-



ка и дрыгал коленками Леха. Сам я был будто в жару, ведь я должен был не только читать стихи, но еще объявлять номера программы.

Наконец, длинная тетка крикнула:

— Начинаем! — И два раза хлопнула в ладоши.

Своими хлопками она думала навести тишину, но раненые поняли ее по-своему и принялись весело и даже как-то яростно аплодировать нам.

Унимая грохот сердца, я выступил вперед и громко, без передышки, сказал:

— Концерт учеников девятой начальной школы Чайковский детский альбом исполняет Правдина Нина, третий «а» класс.

Раненые вновь принялись было хлопать, но Нинка, молодец, громко затарабанила на пианино, словно нарочно старалась заглушить все прочие звуки. По замыслу Фаины Васильевны, по ее режиссуре, сперва надо было привлечь внимание к концерту громкими, уверенными звуками пианино.

— В это время, — объясняла она, — рассаживаются последние зрители, все сосредоточивают свое внимание на искусстве, утихают разговоры, вы овладеваете аудиторией.

Умною и непонятное слово она произносила всегда, когда напутствовала нас, и всегда с каким-то особым чувством. Словечко, кажется, даже слегка подпугивало нас. Мы понимали, на какое серьезное и очень взрослое дело посылают нас.

Так что Нинка бабахала по пианино, привлекая внимание раненых, овладевая аудиторией, а я трепыхался, как лист: вторым номером по режиссуре шли стихи.

Честно говоря, стихотворение, которое я читал, всегда вгоняло меня в пот. Я чувствовал, что шапка не по Сеньке, и не раз предлагал Фаине Васильевне, — концерты готовила лично она, — разучить что-нибудь другое, про Родину, про Сталина, про отвагу и храбрость, все-таки мы ведь выступаем перед бойцами.

Но она была неумолима.

— Понимаешь, — отвечала она, — наш концерт очень маленький. Ведь мы выступаем не где-нибудь, а в госпитале. Представляешь — тебя ранили. У тебя что-то очень болит... Наш концерт должен быть такой, чтобы он заглушил боль!

Фаина Васильевна и Аполлинария Николаевна никогда не выбирали для нас особых детских слов. Они говорили совершенно по-взрослому. Я, например, не все понимал, отдельные слова и даже мысли оставались неясными, и тогда вступали в дело чувства.

Не все понимая, я все чувствовал.

— Стихи поэта Симонова читает ученик третьего класса Лиханов Алик, — объявил я сам себя, крепко вспотев.

Мой голос, конечно, не мог соревноваться с Нинкиным пианино, от которого до сих пор звенело в ушах, и я принялся выкрикивать с натугой, в страхе, что меня не услышат в этом громадном зале:

*Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Жди, когда других не ждут.*

Я знал уже это: прокричать надо только первые строчки, потом дело шло легче, потому что потом, сколько бы я ни читал эти не очень удобные мне стихи, становилось тихо в самой большой палате.

Я успокоился, сменил крик на обыкновенный голос, а когда остановился, уши мои чуть не лопнули от яростных, точно шквал, рукоплесканий.

Несколько раз я открывал рот, чтобы объявить Леху со скрипочкой, но приходилось закрывать его, потому что мне все хлопали и хлопали, а я даже не кланялся, потому что совершенно отчетливо понимал: это хлопают не мне, а стихам и поэту, на самый худой случай неизвестной зрителям Фаине Васильевне, потому что видно, она все-таки разбиралась в деле, знала, что именно мне прочитать, хотя лично я с удовольствием бы заменил это совершенно не военное произведение какими-нибудь хорошими, звонкими строчками про то, как бойцы лупят проклятых фашистов, так что с них шерсть ключьями летит.

Ну вот. Дальше был Леха. И, надо сказать, его скрипочка тоже звучала хорошо, вовремя, после громкого пианино и громких аплодисментов за стихи возникала задумчивая тишина, минутный покой, когда приятно подумать о чем-нибудь красивом и мирном.

Затем шел талантливый головастик — как же его все-таки звали? Коронный наш номер. Он неторопливо усаживался, пока взрослый, сопровождавший нас, а точнее — его, прицеплял к нему аккордеон, точнее — его к аккордеону. По неторопливым приготовлениям музыканта народ быстренько смекал, что сейчас произойдет что-то не совсем обыкновенное, в палате стало шумновато — раненые переглядывались между собой, кивали головой на нашего таланта, который едва виднелся из-за большого аккордеона.

Мне кажется, этот пацан нарочно дождался, пока по залу пойдет шумок, наслаждался удивлением, которое он вызывал. Потом его могучий инструмент рывкнул, и полились без передышки песни за песней. Я даже не объявлял.

А наш гений дул без остановки и хлопать себе не давал. Шпарил без всякой передышки, как будто читал одно за другим стихотворения разных поэтов.

Это тоже придумала Фаина Васильевна. Конечно, не то чтобы без перерывов играть все подряд, а чтобы наш аккордеонист последним выступал.

— Он может много играть,— говорила она,— а ты смотри за настроением зала. Если все хорошо, концерт может быть подлинней. Если вам подадут сигнал, сразу заканчивайте.

Но никто никогда никаких сигналов нам не подавал. В тот раз тоже. Гениальный малыш играл до тех пор, пока не взорвел.

Ему не требовались никакие команды. Он снял голубые мехи аккордеона и сполз вместе с ним со стула.

Все это время, пока мы выступали, за спиной у отца стояла мама в снежном халате и такой же шапочке, оба они улыбаются мне, и, когда мой взгляд все-таки соединялся с их взглядами, мне становилось втрое тяжелей.

Одно дело, когда, например, прочтешь стихи дома, и совсем другое — здесь. Выходило, родители видели что-то такое, что им видеть было вовсе не обязательно, узнали про меня то, что прежде было скрыто от них.

Ну, я выступал, какие здесь секреты, но вот теперь выступал перед другими у них на глазах. Со всем другое дело! И я старался смотреть на кого угодно, только не на отца и не на маму, отворачивая лицо в другую сторону, но от этого мне было не легче, напротив.

Наконец-то все кончилось. Длинная тетка подбежала ко мне и сказала мне, будто я тут был главный, да еще произнесла это каким-то военным голосом: — Вас просит подойти командир полка!

Мы переглянулись и пошли вслед за теткой в соседнюю палату.

Чем ближе приближались мы к командиру полка, тем тяжелей и медленней становились наши шаги.

В углу лежал белый кокон — человек, затаенный бинтами. Вместо одной руки забинтованная культя, а голова походила на шар. Выднелись только нос и рот да черный, небритый подбородок.

Он не видел нас, но, кажется, улыбался — я понял это по губам, они разъезжались в стороны, открывая обточенные зубы.

— Не бойтесь, ребятки,— говорил он.— Подойдите ближе, не бойтесь.

Мы приблизились, стояли испуганной кучкой.

— Молодцы! — сказал он весело.— Какие же вы молодцы! Особенно ты!

Я думал, он говорит про нашего аккордеониста или про Нинку. Но раненый объяснил: — Тот, кто читал стихи.

Я пожегся, остальные мельком оглядели меня, наверное, удивляясь.

— А ты можешь,— сказал он вдруг,— прочитать их еще раз? Мне одному.

Длинная тетка, сделав большие глаза, кивала мне, трясла головой.

— Могу,— сказал я.

— Только негромко,— попросил он.

Я выступил на шаг вперед и начал. Оказалось, одно дело — читать для целой палаты, а другое дело для единственного человека. Неважно у меня получалось, и я думал, что такому героическому командиру все-таки лучше бы прочитать что-нибудь тоже героическое, надо все-таки непременно выучить.

Тем временем я повторил стихи.

— Спасибо,— сказал он и, будучи извиняясь, объяснил: — Читать мне теперь нечем, а радио тут не положено, слишком большая палата.

Он помолчал. Молчал и я.

— Сестра! — повысил он голос. Длинная тетка отозвалась, будто эхо.— Где-то в тумбочке есть шоколад. Дайте ребятам!

Тетка присела и, обернувшись, протянула четыре большие шоколадные плитки.

— Не надо! — сказал я. Было неловко брать столько.

— Бери, бери,— снова растянул он губы.— Ешьте на здоровье! Да растите большими!

И все-таки слава коснулась меня в тот раз.

Настоящая, дорогая до сих пор.

Я подошел к отцу, присел на кровать. Раненые расхваливали неторопливо по своим палатам, и не все они знали меня.

— Что же это, твой сын? — воскликнул кто-то за моей спиной.

— Сын! — улынувшись, ответил отец.

— Ну, молодец! — Этот кто-то погладил меня по макушке, я полуобернулся, смущенно улыбаясь.

— Поздравляю, кто-то еще сказал отцу.

— Спасибо! — с удовольствием отвечал он.

А трое моих приятелей во все глаза смотрели на меня.

В их взглядах виделся укор, они завидовали самой

чистой завистью, какая бывает на свете. Они завидовали, что я могу обнять собственного отца.

Леха стал астрономом, — играет ли он на скрипочке? Нинка окончила педагогический, следы молчаливого гения с головой, похожей на уют, как и его имя, таинственно потерялись в просторах бытия, моя мама давно на пенсии, у нее часто болят ноги, и я знаю, она едва идет по утрам из магазина, с кошелкой, в которой торчит батон и брякают бутылки с кефиром, отец совсем не похож на того человека, который лежал в госпитале, — его лицо похоже на кору пересошного старого дерева, в глубоких старческих морщинах; дом, где был госпиталь, занимает кукольный театр и детская библиотека, палата без одной стены приобрела законченность, потому что это всего лишь фойе, и по лестнице бегают ребятишки, словом, все, все решительно переменилось, — а я вот помню, не могу позабыть наш концерт...

Как же все-таки забавно устроена жизнь! Первая ее половина беспмятна, и оттого, пожалуй, неспешна, тягуча; ты погоняешь ее всей душой; тебе не терпится стать взрослым, чтобы обрести свободу, быть хозяином самому себе, научиться чему-то непременно важному; будущая жизнь кажется бесконечным временем, которое полно интереса и необыкновенности. Но вот ты начинаешь вспоминать, обретаешь память, и жизнь раскручивается, как пружина, мелькает, будто километровые столбы за окном торопливого поезда; из времени разнообразных величин детство видится благословенной порой постоянства и чистоты.

Да, тебе дарована память, но будто в отместку за это ты пробегашь годы все быстрее, быстрее, и нельзя ничего переменить.

Ох да ох, как сказала Фаина Васильевна.

Свет разорвал темноту, но Аполлиария Николаевна не потушила свечку.

— Подождем,— сказала она,— может, погаснет снова,— и мне вдруг послышалась в этих словах надежда.

Свет снова погаснет, чтобы нам вновь очутиться в классе военной поры...

Но время брало свое, не желая возвращаться вспять, и в этом была какая-то ненужная жестокость; свет больше не гас; нас освещала яркая, без помигиваний, лампочка, и только теперь Аполлиария Николаевна сказала:

— Так вот ты какой!

Она помолчала.

— Уже немолод.

— Давно,— согласился я. Но она будто не услышала:

— И все-таки совсем мальчишка.

Настало время прощаться. Через час уходил поезд. Я поднялся и подошел к ней.

— Наклонись,— сказала она, и, чтобы было удобнее поцеловать ее, я встал на колени.

Как хорошо, что я сделал это!

— Дай голову,— сказала она и поцеловала меня в лоб сухими, совсем неслышными губами.— Прощай! — проговорила она бодрым, даже веселым голосом и, заметив мой протест, махнула рукой.— Мои годы такие!

В ее словах не слышалось ни звука фальши. Видать, она хорошо приготовилась к своему будущему.

Я вздрогнул — эта мысль хлестнула, словно кнут. Но ведь у нее нет будущего. А главное, она прекрасно знает это. Все в прошлом. Так очевидно и просто. Но она не хандрит, идет к своему концу, живет без будущего и счастлива сегодняшним.

Это мужество, подумал я тогда.

Это способность соглашаться с правдой, думаю я сегодня.

Фаина Васильевна еще оставалась, я уходил один. Одевшись, встал на порог. Запомни, говорил я себе, запомни как можно подробнее, потому что такое надо видеть до конца. Я запомнил.

Сухая, легкая, как пух, старушка глядела на меня добрыми, все прощающими глазами. Черная кофточка, белый воротничок... И снова — глаза.

Кажется, они стали светлее, чем раньше, прозрачнее. Никогда не думал, что с возрастом могут посветлеть глаза. Впрочем, может, так кажется?

Нет, мне не казалось. В светлых глазах я увидел неземную мудрость, покой, благодарение. В этом неземном не было ничего пугающего, напротив. Старушка смотрела на меня так, будто взглядом обнимала всего меня и все, что в душе моей, все, что не сказано, ей ясно без слов.

Она кивала мне, благословляла меня, желала добра. Одного только добра.

Я поклонился ей.

Последним взглядом схватил: свет лампочки не перекрывает света, идущего от свечи, наоборот, пламя свечи размывает большую тень, сделав сморщенное, сухое лицо неестественно ярким и чистым.

Через час мой поезд тихо, будто корабль, отчалил от перрона.

В купе шумел, заваривался очередной спор про нашу торопливую жизнь, но я не слышал слов. Я глядел за окно, на то, как унываются свои бег вокзальные огни, как обрывается город, как мерцает, переливается снег и фонари образуют возле себя белые тарелки.

Душа моя была полна торжественной и тихой радостью. Я испытывал странное облегчение. Свидание с учительницей не походило на правду, и оттого, быть может, мной владела светлая приподнятость.

В последние минуты перед отходом поезда я рассказал маме, откуда, едва не опоздав, пришел только что, и она добавила мне еще одну подробность.

— Аполлиария Николаевна — крестная Варвары,— сказала она.

Тетя Варя, жена маминого брата, жила вместе с ним в Москве, и сколько мы встречались, а никогда не говорили о ее крестной.

А крестной была учительница. Отец тети Вари служил конюхом в школе, а это значило водовозом, истопником, возчиком. Когда родилась Варвара, конюх пришел к человеку, которого уважал больше всех.

Было это в одна тысяча девятьсот двенадцатом году.

Поезд разогнался, тьма кружилась за окном гигантским кругом, смешивая светящиеся точки, тени деревьев, будки обходчиков, деревенские постройки.

Весь мир кружился передо мной, и это была реальность, но, разрывая круг, из тьмы пришли трое — дед, бабушка и Аполлиария Николаевна. Учительница держалась чуть поодаль от них. Все трое вглядывались, щуря глаза, из темноты, будто яркий свет вагонного окна мешал им разглядеть меня.

— Приеду,— шелнул я.

Аполлиария Николаевна умерла через два года, не дойдя всего трех шагов до своего столетия. Незадолго перед этим знакомый фотограф ехал в мой город, и я попросил его зайти к учительнице, сделать для меня ее портрет. Снимок вышел на редкость удачным и греет мою душу, когда выпадают стальные, равнодушные дни. С последней своей ступеньки глядит на меня взглядом, желающим добра, дорогая моя учительница, которая так и не устала жить...

Уезжая из дому, надо возвращаться...

Рано или поздно, на день или навсегда.

И, пока жив, надо, уезжая, торопиться обратно.

Все трудней ходить по городу, где все переменялось. Будто ты там и не там. Трудно уговорить себя, что ты на прежнем месте. Незнакомые кирпичные дома взирают равнодушно — они не видали тебя, а ты не знаешь их. И ловишь себя на мысли, что навстречу тебе идет много прохожих моложе тебя.

В старые времена люди придумали родительские субботы. Может, не верили в постоянство памяти и оттого назначили себе ритуальные дни? Хотя в самом выборе дня поминовения, субботе, конце недели после трудной работы, есть выразительная символика.

И все же, чтобы помнить, мало одной субботы.

Нужен светлый день, чтобы, живя, слова свои и поступки мерить чьей-то мерой, кто дал тебе жизнь, а теперь взирает на тебя с верой и надеждой; нужна бессонная ночь, когда из тьмы подходят к твоему изголовью те, кому обязан ты дать отчет о добре содеянном, о долге исполненном; нужен тревожный вечер, чтобы было сподручной спросить тебя, как идешь к совершенству, кого образумил за день и вдохновил, кого обидел неправедно и что сделать надобно, чтобы неправедность эту искупить; вечер нужен, чтобы исповедовать, утешить, одобрить, наставить на истинный путь добра и правды, служению отчизне; нужно ясное утро, чтобы напутствовать тебя на честное дело, осветить твой путь мыслью о продолжении, о том, что всякая жизнь начинается не из ничего, а только продолжает начатое, и, пользуясь временем, дарованным сегодня, всенепременно надо помнить о совести, которая есть желание судить себя перед теми, кто был, и теми, кто будет.

И день, и ночь, и вечер, и утро — вся жизнь нужна для непрестанного труда души — памяти, памяти, памяти, воспоминаний.

Есть выражение: мы приходим в этот мир, чтобы уйти, и первый крик ребенка — это первый его шаг к могиле.

В такой мысли есть несправедливое: обреченность.

Душа спорит с несправедливостью.

Мы приходим, чтобы уйти...

Нет, мы приходим, чтобы оставить о себе память.

Я иду по кладбищу, от могилы к могиле.

— Здравствуй, мои дорогие!

Вас нет, но без вас не было бы меня.

Вас нет, но вы помогаете жить.

Вы — во мне...



31-я шахматная Олимпиада
Под редакцией гроссмейстера
Виктора ЧЕПИЖНОГО

ПАРАД МИНИАТЮР
В. ГОЛЬЦГАУЗЕН
1903 г.



Мат в 3 хода

1. Ch8!! «Вверх по длинной лестнице, ведущей вниз!» Белый слон освобождает большую диагональ в предвидении решающего маневра ферзя. 1...f4 2. Фg7 Кре1 3. Фа1X! Большие маневры! Классический пример так называемого лойдовского освобождения линии. Впечатление усиливается максимально длинным противходом двух дальнебойных фигур.

ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР



Белые: Krb3, Фh1, п.b5 (3)
Черные: Кра5, Са6, пп. b6, d5 (4)
Мат в 3 хода (2 балла)

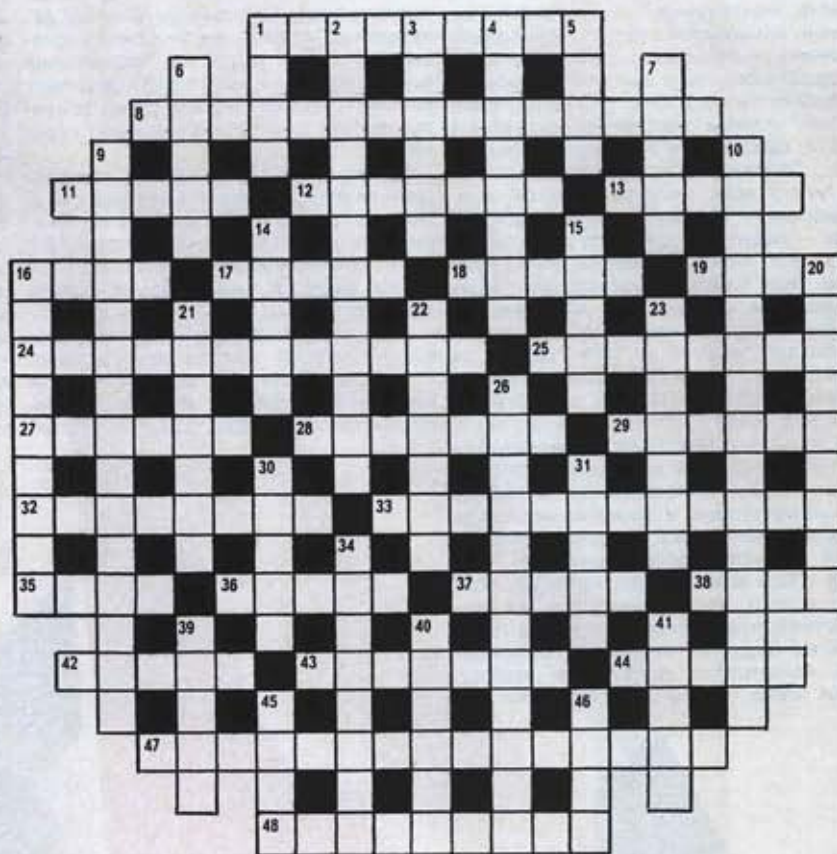


Белые: Krg4, Фd1, пп. c6, d7 (4)
Черные: Kpd8, Kf8, п. g5 (3)
Мат в 3 хода (2 балла)

Ответы на задания присылайте только на открытках (без конвертов!) с пометкой «31-я шахматная олимпиада. IV тур». Последний срок отправки писем (по почтовому штемпелю) — 15 июня.

КРОССВОРД

Составил А. Мизов, село Псыгансу Кабардино-Балкарской АССР



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Каждый из возглавлявших: «Идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь!». 8. Школьница-комсомолка, партизанка, Герой Советского Союза. 11. Пыл, заменяющий юным футболистам и хоккеистам мастерство. 12. Гафели, матчи, реи как совокупность. 13. Волчий эпитет для Ягненка в популярной басне И. Крылова. 16. Символ чистоты в свадебном обряде. 17. Засахаренный плод. 18. Судовая принадлежность, символ надежды, постоянства, спокойствия в европейском медальерном искусстве. 19. Трехмачтовый корабль, на котором было до 28 орудий. 24. Русский ученый, разработавший технологию изготовления ракет. 25. Советский авиаконструктор, создатель известных истребителей.

27. Соль или эфир уксусной кислоты. 28. Серебряная деталь сборки у кахетинца в стихотворении Я. Полонского. 29. Летний цирк, впервые поставленный на Елисейских полях в Париже. 32. Наука о строении грозди и ягод винограда. 33. Грузинский певец-баритон. 35. Серебро на утренней траве. 36. Прибор, чей луч работает в микрохирургии. 37. В лесу с ружьем, а стреляет редко. 38. Место в лесу, где селится юрок. 42. Предмет с ручкой, без которого обходится шалаш. 43. Приток Нижней Тунгуски. 44. Важный элемент графики. 47. Спеченные материалы в промышленности, которые получают методом порошковой технологии. 48. Поэма Т. Шевченко, которую первым на русский язык перевел Л. Мей.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Жанр «Марсельезы». 2. Актриса, одна из основоположников грузинского советского театра. 3. Одно из русских названий усталости, бессилия. 4. Пригодная для цветочной аранжировки луговая трава с красивой мелкой. 5. Зверь, никогда не прыгающий на жертву с дерева. 6. Простейшая подъемная машина. 7. Мелодия. Ею нередко пренебрегают современные менестрели. 9. Луга, поля, сады как вид хозяйствования. 10. Процесс, описанный в «Поднятой целине» М. Шолохова. 14. Поездка спортсменов на выступление. 15. Король музыкальных инструментов. 16. Помада для волос. 20. Бессловесное искусство. 21. Географ-энциклопедист античного мира. 22. Узбекский математик, выде-

ливший алгебру в самостоятельный раздел математики. 23. Великий комедиограф Франции, шесть раз попадавший в тюрьму за любовь к истине. 26. На дворе трава, на траве дрова (жанр). 30. Африканский мастер объедать деревья. 31. Божество, с которым связано самое большое число мифов у народа, живущего на берегах Ганга. 34. Химический элемент, благодаря которому были открыты нейтроны. 39. Герой греческих мифов, встречаемый в творчестве Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама. 40. Порт на северо-востоке Алжира. 41. Нравственное дитя Сократа. 45. Иранская угловая арфа, на которой играли обычно женщины. 46. Пристань на Конде, крупном притоке Иртыша.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5

По горизонтали:

1. Звезда. 6. Рштуни. 10. Хлястик. 12. Магнит. 14. Нигилист. 15. Ломоносов. 16. Иона. 19. Цорн. 20. Клиренс. 21. Чигорин. 22. Икс. 25. Эфа. 26. Слюнтяй. 27. Чирок. 30. Юнкер. 31. Арбалет. 32. Обь. 34. Ида. 36. Фолиант. 37. Бахрейн. 39. Галл. 41. Окно. 42. ...проказник... 45. Нейтринно. 46. Татлин. 47. Удавчик. 48. «Аранда». 49. Вейник.

По вертикали:

1. Зимник. 2. Евгеника. 3. Дрил. 4. Элиот. 5. Ясновидающая. 6. Ригодон. 7. Шкив. 8. Унисон. 9. Истина. 11: Тис. 13. Тоннель. 17. Олифант. 18. Арс... 19. Циник. 23. Андроникова. 24. ...комбайн. 28. Щегол. 29. Фанакит. 32. Одеколон. 33. Киприда. 34. Иро. 35. Уганда. 36. Флейта. 38. Норник. 40. Узник. 42. Пруд. 43. Она. 44. Каре.



Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

СМЕНА '89

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

Основан в январе 1924 года.
Выходит два раза в месяц.

№ 6 (1484) МАРТ

Главный редактор
Михаил КИЗИЛОВ

Редколлегия:

Сергей БАБКИН
(заместитель главного редактора)
Борис ДАНИУШЕВСКИЙ
(заместитель главного редактора)
Александр КУЛЕШОВ
Андрей КУЧЕРОВ
Альберт ЛИХАНОВ
Иосиф ОРДЖОНИКИДЗЕ
Сергей ПОПОВ
(ответственный секретарь)
Юрий РАГОЗИН
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Евгений РЯБЧИКОВ
Вадим САЮШЕВ
Виталий СЕВАСТЬЯНОВ
Владислав СЕРИКОВ
Виталий ФЕДОРОВ
(главный художник)

Художник
Владимир ЗАЙЦЕВ
Технический редактор
Елена НАЗАРОВА

Сдано в набор 03.02.89.
Подписано к печати 15.02.89.
А 00233. Формат 70×108/16.
Бумага для глубокой печати.
Глубокая печать. Усл. печ. л. 5,60.
Усл. кр.-отт. 19,60. Уч.-изд. л. 10,26.
Тираж 2 500 000 экз.
Заказ № 226.
Цена 35 коп.



101457, ГСП, Москва,
Бумажный проезд, 14



212-15-07 — для справок. Отделы:
212-21-59 — рабочей молодежи и науки,
212-21-38 — коммунистического
воспитания,
212-23-79 — фотоочерка,
251-32-84 — военно-спортивный,
251-32-84 — международной жизни,
251-04-10 — литературы и искусства,
212-11-27 — писем и массовой работы.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137,
улица «Правды», 24.

Рукописи, фото и рисунки
не возвращаются.
Рукописи объемом
более одного авторского листа
(24 машинописные страницы)
редакцией не рассматриваются.

...Их всего двое. Один порывист, немного нервен. Другой — само спокойствие, умиротворенность. Один — блондин, другой, понятное дело, — брюнет. На сцене один играет на гитаре, другой — на клавишных инструментах. Но в студии они — и Игорь Кезля, и Андрей Моргунов — работают четко и слаженно, прекрасно дополняя друг друга: «программируют» компьютеры, сэмплы, ищут оптимальные аранжировки, да и просто репетируют, ибо то направление, которое исповедует группа «Новая коллекция», требует филигранной точности, недюжинного упорства и терпения при подготовке каждой композиции.

Да и вообще серьезность подхода к творчеству отличает «коллекционеров» от подавляющего большинства современных групп-близняшек, де-

лающих главную ставку на «социальный» текст, зачастую забывая, зачем у них в руках инструменты. Как-то непривычно это сегодня — сложные инструментальные композиции, очень маленький состав, «камерная» манера исполнения... Их постоянно спрашивают, чего вы, мол, не поете? Обычно Кезля и Моргунов отшучиваются: «чтобы тексты не литоваты!» Но на самом деле это — дело принципа... Творческое кредо, если хотите.

Автор всех мелодий «Новой коллекции» — Игорь, но в аранжировках — паритет с Андреем (на его плечах все «программирование»), причем при полной демократии, ведь нельзя не считаться с мнением половины коллектива. Андрей и Игорь работают вместе с 1986 года и за довольно короткий срок сумели очень уверенно встать на ноги на зыбкой почве популярной музыки. Их концерты проходят с неизменным успехом; первый диск-гигант группы был весьма благосклонно встречен и слушателями, и музыкальной критикой. Сейчас уже записан материал для второго долгоиграющего диска... Все композиции, которые войдут в него, исполнены в той же стилистике, что и прежние работы группы, но будут и новшества: музыканты используют вокальную краску. Для этого приглашена артистка Му-

зыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Лиза Суржикова. Синтез музыки «Новой коллекции» и классического вокала дал замечательные результаты. Кстати, видеоклип, снятый на ЦТ с одной из «вокальных композиций» и промелькнувший пару раз на «голубом экране», уже закуплен пятью капиталистическими странами...

Вообще интерес к «Новой коллекции» за рубежом растет из года в год. Сейчас группа по приглашению американского продюсера отправляется с коммерческими гастролями за океан. Ведутся переговоры о записи диска в США...

Все это подтверждает правильность выбора творческой дороги. И можно было бы закончить этой мажорной нотой, но некоторые проблемы, без которых, увы, невозмож-

но творчество, остались бы «за кадром». Дело в том, что музыка «Новой коллекции» знакома очень большому числу людей, ее можно услышать и по радио, и по телевидению, например, в ежедневной «120 минут», во «Взгляде» и даже «Времени», но лишь очень небольшой процент слушателей знает ее авторов. На концертах пришедшие впервые зрители неизменно испытывают удивление, услышав знакомые мелодии... И еще — хроническая до безысходности проблема с аппаратурой. Музыка «Новой коллекции» невозможна без очень сильного технического оснащения, которое позволяет музыкантам раскрыться полностью, донести свои мысли и чувства... Но воз (с аппаратурой наших групп) и ныне там. Ведь обидно же, право... Но Кезля и Моргунов не унывают — послушайте их музыку, и все станет ясно.

Алексей ТРОПИН
Фото Рифата ЮНИСОВА

Новая Коллекция

